

Академия наук СССР
Институт русского языка

Русская речь

2 МАРТ
АПРЕЛЬ
1990

Научно – популярный журнал

Издается с января 1967 г.
Выходит 6 раз в год

МОСКВА "НАУКА"

В НОМЕРЕ: К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

- 3 П. М. Фесуненко. В. И. Ленин в работе над словом ©
9 В. Н. Фойницкий. Истоки одной реплики ©
-

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Писатель о писателе

- 11 Бор. Зайцев. Пастернак. Полгода со дня кончины
К 175-летию со дня рождения П. П. Ершова
16 Л. Н. Михеева. О «Коньке-горбунке» и его авторе ©
25 В. Н. Вакуров. О словах и выражениях сказки
П. П. Ершова «Конек-горбунок» ©
31 И. Б. Качинская. О речевой маске Репетилова ©
Писатель и его читатель
37 М. В. Горбаневский. Помидорная любовь ©
-

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- 41 Константин Бальмонт. Русский язык ©
-

АНТОЛОГИЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

- 70 Ада Якушева ©
-

КУЛЬТУРА РЕЧИ

- 75 Т. Н. Кабинетская. «Я послал тебе открытку» ©
80 Ю. Л. Воротников. Красив ли черт? ©
87 Л. А. Кудрявцева. Технические термины в общелитературном языке ©
-

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ*К 100-летию со дня рождения*

- 91 *В. К. Журавлев. Николай Сергеевич Трубецкой* ©

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ

- 97 *О. Н. Трубачев. В поисках единства* ©
 109 *В. В. Калугин. Ошибался ли дьяк Козьма Попович?* ©
 114 *Г. В. Судakov. Назвался груздем – полезай в кузов* ©

РУССКИЕ ГОВОРЫ

- 122 *Н. Н. Пшеничнова. Диалектологический атлас русского языка* ©

НА КАРТЕ РОДИНЫ

- 128 *В. А. Бушаков. Что означало название Артек?* ©

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

- 131 *Т. В. Горячева. Глаза простудить, погреть...* ©
 137 *М. И. Чернышева. Павлин, Феникс* ©
 142 *Эр. Хан-Пира. Сталинизм и сталинщина* ©
За знакомой строкой
 146 *В. И. Макаров, Н. П. Матвеева. «Держать в обаянии»; «Во лжи прелестной обличу»* ©

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

- 150 *С. С.-Д. Ким. Судьба родного языка* ©

СТРАНИЦА НОВЫХ СЛОВ ©**ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»**

- 158 *В. Н. Сергеев. На афише – хит-парад?..* ©

КРОССВОРД

Обложка выполнена Е. Чукановой ©

В. И. Ленин в работе над словом

П. М. ФЕСУНЕНКО,

кандидат филологических наук



уществуют разные манеры писать. Одни авторы обдумывают свое произведение до мельчайших деталей и пишут его сразу начисто, без вычеркиваний и поправок. Другие, наоборот, много раз переделывают свою рукопись.

Как же писал В. И. Ленин?

Подготовительные материалы к произведениям Владимира Ильича свидетельствуют, что определяющей чертой его письма является кропотливая работа над формой, стилем. В этом убеждаешься, рассматривая стилистические правки рукописей.

В. И. Ленин считал, что при ведущем значении содержания хорошая форма, стиль способствуют точной и ясной передаче мысли, помогают донести сложные идеи к читателям. В тех же случаях, когда Ленин не имел возможности уделить максимальное внимание стилю своих произведений, он не забывал сказать об этом читателям. Именно такими являются его искренние слова извинения по поводу недочетов в литературной отделке книги «Что делать?» (1902 г.). В предисловии к ней он пишет: «К извинению по поводу опоздания мне приходится таким образом прибавить еще извинение по поводу громадных недостатков в литературной отделке брошюры: я должен был работать *до последней степени наспех*, отрываемый притом всякими другими работами» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 4–5; далее — том, стр.). Этими словами В. И. Ленин со свойственной ему скромностью, несомненно, преувеличивал возможное наличие в книге стилистических недочетов. Вместе с тем эти слова Владимира Ильича характеризуют как его манеру писать, так и стремление доводить отделку стиля до совершенства.

В архиве сохранились рукописи ряда опубликованных статей В. И. Ленина с его правками. Эти рукописи под названием «Правки и вычеркивания Лениным в своих статьях во „Вперед“ и „Пролетарий“» приводятся в пятом разделе XXVI т. «Ленинского сборника» (См.: Ленинский сборник. Т. XXVI. С. 163–203; далее — том, стр.). Этот раздел охватывает правки рукописей двенадцати статей, опубликованных в газетах «Вперед» и «Пролетарий» в февраль

ле — октябре 1905 г.: «Две тактики», «Пролетариат и крестьянство», «Социал-демократия и временное революционное правительство», «Революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства», «Конституционный базар», «О временном революционном правительстве», «Революционная борьба и либеральное маклерство», «Демократические задачи революционного пролетариата», «Третий шаг назад», «В хвосте у монархической буржуазии или во главе революционного пролетариата и крестьянства?», «Земский съезд», «Последнее слово искровской тактики или потешные выборы, как новые побудительные мотивы для восстания».

Владимир Ильич делал самые разнообразные сокращения и замены в тексте. Причем случаев сокращения, вычеркивания у него значительно больше, чем замены. Среди сокращений есть такие, которые дают основание думать, что те или иные места устранены не потому, что Ленин считал их неудачными. Иногда Владимир Ильич вычеркивал отдельные места, очевидно, считая, что тема, затронутая в них, слишком важна, не может быть упомянутой лишь мимоходом, и он откладывает ее для отдельной работы. Для примера можно сослаться на вычеркнутые строки в статье «Пролетариат и крестьянство» (См.: Т. XXVI. С. 174—173).

Во многих статьях специально оговорены вычеркивания и замены, что их делали другие лица. В частности, М. С. Ольминский — один из редакторов газеты «Пролетарий» — нередко «смягчал» резкие полемические слова Ленина, часто вопреки желанию автора.

Об отношении В. И. Ленина к подобным смягчениям свидетельствует интересный факт. В письме к А. И. Елизаровой-Ульяновой, взявшей на себя хлопоты по изданию книги «Материализм и эмпириокритицизм», он пишет: «Ругательства прочие согласен смягчать, а равно и неприличные выражения. Примыслил боженьку — придется заменить: „примыслил“ себе... ну, скажем мягко, религиозные понятия“ или в этом роде» (т. 55. С. 265).

Сокращения отдельных фраз и целых абзацев — это не только стремление к экономии изложения. Они являются в большинстве случаев средством, усиливающим идейное звучание текста, делающим его острее и действеннее. Другие ленинские правки можно условно разделить на лексико-стилистические и грамматико-стилистические.

Рассмотрим некоторые лексико-стилистические сокращения и замены, широко практикуемые в рукописях. Так, В. И. Ленин исключает из текста слова и словосочетания, которые не имеют существенного значения для раскрытия его идейного смысла. Последовательно вычеркиваются повторы, в ряде случаев снимаются

некоторые эмоционально-экспрессивные слова с целью смягчения полемической остроты, исключаются лишние эпитеты.

Возьмем такой текст:

«Поэтому, если теперь Искра в № 108 бросает... какие-то намеки на теорию „невмешательства“, „абсентеизма“, „воздержания“, „скрещенных рук“ и т. п., то мы прежде всего отодвигаем подобные „возражения“, ибо это не полемика, а [мизерное, дрянненькое] лишь покушение... „дарапать“ оппонента» (XXVI, с. 195; вычеркивания, сделанные В. И. Лениным в тексте, даются в квадратных скобках). Здесь В. И. Ленин целесообразно смягчает излишнее эмоциональное напряжение предложения, вычеркнув эпитет с отрицательной окраской *мизерное* и эпитет *дряньненькое*. При этом полемическая острота изложения не снижается.

Характерно, что аналогичные смягчения Ленин осуществлял в процессе работы над вышеупомянутой нами корректурой книги «Материализм и эмпириокритицизм».

Наряду с лексико-стилистическими сокращениями в процессе правки рукописей Ленин широко практикует и лексико-стилистические замены. Чаще всего они обусловлены поисками более точного, весомого слова в данном стилистическом окружении. Среди них заметно выделяются такие, которые вносят в изложение дополнительные смысловые и эмоционально-выразительные оттенки.

Рассмотрим пример: «К счастью, самостоятельность передовых рабочих оказывается далеко впереди хвостистской философии новой Искры. Пока она [сочиняет] вымучивает из себя теории, доказывающие, что восстание не может быть назначено тем, кто готовился к нему, организуя... передовой отряд революционного класса, события показывают, что восстание могут назначать и бывают вынуждены назначать люди, не готовившиеся...» (XXVI, с. 168–169).

В этом тексте Ленин сначала употребил слово *сочинять*, а потом заменил его другим — *вымучивать*. Глагол *сочинять* выступает в первом варианте в своем основном значении с разговорно-иронической смысловой окраской. Но оно показалось Владимиру Ильичу недостаточным для выражения его мысли, и он подбирает более удачное для данного контекста — *вымучивать*. Именно это слово наиболее точно характеризует новоискровцев с их потугами на оригинальность и ученость в своих философских мудрствованиях.

В некоторых случаях иноязычные слова заменяются общепотребительными, что способствует более ясному и доступному изложению. Например: «Нет и быть не может такой формы борь-

бы, [такой политической ситуации, которая бы не влекла] такого политического положения, которое бы не влекло за собой опасностей...» (XXVI, с. 183).

Здесь в центре вычеркивания находится иноязычное слово *ситуация*. Ленин отдает предпочтение слову *положение*. В связи с такой заменой происходит соответствующее переоформление и согласование слов. Вместо снятого «такой политической ситуации, которая бы не влекла» в окончательной редакции звучит: «такого политического положения, которое бы не влекло».

Встречаются также уточняющие лексические замены в некоторых фразеологических оборотах, например: «...Но крупная буржуазия никогда не сможет стать... надежным и верным сторонником *самодержавия народа*. Она всегда будет одной рукой [«давать»] брать конституцию (для себя), а другой рукой — *отбирать* права у народа или противодействовать расширению прав народа...» (XXVI, с. 196).

Известный фразеологизм «одной рукой давать, а другой отбирать» В. И. Ленин трансформирует и на его образной основе создает меткое высказывание о буржуазии, которая всегда будет одной рукой брать конституцию (для себя), а другой — отбирать права у народа. Заменой слова *давать* словом *брать* достигаются идеологическая острота и сатирическое звучание текста.

В рукописях В. И. Ленина имеются не только лексико-стилистические, но и грамматико-стилистические правки. Обращают на себя внимание прежде всего сокращения и замены синтаксико-стилистического характера. Избегая многословия, Владимир Ильич часто сжимает развернутое предложение и достигает таким образом лаконичности изложения. Этот процесс наглядно прослеживается на таком примере: «Всего пять лет тому назад лозунг „*долей самодержавие!*“ [казался преждевременным, неуместным, непонятным для рабочей массы, казался таковым весьма многим представителям социалдемократии] многим представителям социалдемократии казался преждевременным» (XXVI, с. 174).

Как видим, в результате замены слов и перестройки фразы В. И. Ленин создает сказуемое с четко выраженными смысловыми отношениями в именной его части.

Редактируя текст, Владимир Ильич особое внимание обращает на сокращение и оттачивание сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными. Структурной и логической четкости он достигает снятием некоторых частей.

Обратимся к примеру: «Еще большая беда в том, что есть люди в партии и немало их, которые [берут всерьез подобные вещи, которые с важным и глубокомысленным видом разносят эти

поистине новые открытия, которые несут невероятную смуту этим в рабочую среду] засоряют себе головы этими пустяками» (XXVI, с. 167).

До редактирования — это предложение с системой придаточных, начинающихся с относительного слова *который*. Прием двукратного или трехкратного употребления однотипных придаточных структур в данном речевом контексте не соответствует авторскому замыслу сжатого и энергичного выражения мысли. Вычеркивая второе и третье придаточные предложения, а также часть четвертого, Владимир Ильич освобождается от излишней конкретизации понятия. На основании оставшейся части четвертого придаточного предложения создана новая придаточная конструкция. После исправления высказывание приобрело новую стилистическую форму: «Еще большая беда в том, что есть люди в партии и немало их, которые засоряют себе головы этими пустяками». По сравнению с первым вариантом оно отличается большей смысловой и структурной четкостью.

Испытанный стилистический прием В. И. Ленина — употребление вставных конструкций (слов, словосочетаний и предложений) особенно в полемике и борьбе с идейными противниками.

«Искра» договаривается даже до того, что «организация революционного самоуправления, это и есть единственный способ действительной „организации“ [(должно быть, иронические кавычки наших новоискровских Петрушек!)] всенародного восстания» (XXVI, с. 195).

В приведенной цитате из «Искры» слово «организации» взято в кавычки, и Ленин после него в скобках иронически замечает: «(должно быть, иронические кавычки наших новоискровских Петрушек!)». Эта вставка дает резкую сатирическую оценку идейному противнику, беспощадно высмеивает его теоретизирование. Однако, чтобы сжать изложение, Владимиру Ильичу в последней редакции довелось ее (как и много других в аналогичных случаях) вычеркнуть. При этом общая сатирическая и изобличительная направленность текста, несомненно, не снизилась, поскольку она создается всеми средствами и всем ходом повествования.

Целенаправленно использованные некоторые обращения, как и вставные конструкции, также способствуют созданию иронических, сатирических контекстов. В. И. Ленин иногда вычеркивает такие обращения, смягчая этим самым остроту высказывания. Вот характерный пример: «Можно ли назначить рабочее движение? [почтенный тов. Мартынов?] Нет, нельзя, потому что оно складывается из тысячи отдельных актов, порождаемых переворотом в общественных отношениях. Можно ли назначить стачку? [глубоко-

мысленный тов. Мартынов?] Можно, несмотря на то — представьте себе, т. Мартынов, *несмотря* на то, что... каждая стачка является результатом переворота в общественных отношениях» (XXVI, с. 168).

Характерным для правок рукописей В. И. Ленина является устранение длиннот путем дробления сложных многочленных синтаксических конструкций на несколько предложений. Иногда же, наоборот, на основе двух или нескольких предложений, вычеркивая лишнее и второстепенное как по содержанию, так и по форме, он формирует одно сжатое и энергичное высказывание: «Чтобы правильно понять эти замечания Каутского, которые, будучи вырваны из связи, могли бы вызвать немало недоразумений, [неопределенность, проистекающая может быть от недостаточного знакомства с аграрным вопросом в России и с аграрной программой русской социал-демократии. Чтобы не преувеличивать эти неточности] надо непременно иметь в виду также следующее замечание [Каутского] его в конце [его] статьи» (XXVI, с. 171–172).

Нетрудно заметить, что сначала этот текст состоял из двух высказываний, выраженных сложноподчиненными предложениями. Первое из них имело главную и две придаточные части. В нем не окончено формирование главной мысли и отсутствует ее связь с придаточными компонентами. Во втором предложении недостаточно конкретизирована мысль, выраженная придаточной частью. Поэтому В. И. Ленин вычеркивает главную часть первого предложения («неопределенность, проистекающая может быть от недостаточного знакомства с аграрным вопросом в России и с аграрной программой русской социал-демократии») и придаточную часть второго («Чтобы не преувеличивать эти неточности»). А на базе оставшихся фрагментов двух придаточных частей первого предложения и главной части второго он дает окончательную редакцию нового сложноподчиненного предложения: «Чтобы правильно понять эти замечания Каутского, которые, будучи вырваны из связи, могли бы вызвать немало недоразумений, надо непременно иметь в виду также следующее замечание его в конце статьи». Как видно, это четкое высказывание оформлено рельефной сложноподчиненной конструкцией с последовательной зависимостью двух придаточных частей.

Рассмотренные нами некоторые правки В. И. Лениным своих рукописей дают возможность познакомиться с его творческой лабораторией, исключительным редакторским мастерством, с умением целесообразными исправлениями придать тексту необходимое политическое звучание и завершенность стиля,

Киев

Истоки одной реплики

В. Н. ФОЙНИЦКИЙ

днажды меня спросили: откуда В. И. Ленин взял выражение «голова для брюха или брюхо для головы»? Эти слова — из ленинской статьи 1906 г. «Обывательщина в революционной среде», — бичуют кадетского публициста В. В. Португалова, который «...спрашивает с важным видом: „класс для партии или партия для класса?“ Мы ответим на этот мудрый вопрос тоже вопросом по адресу буржуазных писателей: голова для брюха или брюхо для головы?» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 49). Спрашивающие предполагали, что это цитата из произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина, но в известном «Щедринском словаре» М. С. Ольминского (М., 1937) не нашлось этого выражения. Я спросил еще нескольких ленинградских ученых, глубоко изучивших творчество великого русского сатирика, и они также уверенно ответили, что этих слов у автора «Господ Головлевых» нет.

И вот тут-то вспомнились гневные слова из 1-го тома «Капитала» К. Маркса о «...пошлой басне Менения Агриппы, которая изображает человека в виде части его собственного тела» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 373). Редакционное примечание к этому месту поясняет, что, по преданию, римский патриций Менений Агриппа уговорил восставших в 494 г. до н. э. плебеев смириться, рассказав им басню о частях человеческого тела, возмущившихся против желудка. Удалось установить первоисточник с изложением этой басни: 32-я глава 2-й книги «Истории Рима» Тита Ливия.

Казалось бы, можно ставить точку. Но профессиональная память подсказывала, что и в русской поэзии есть басня, связанная с этим сюжетом. В сборнике «Русская басня 18–19 вв.» (Л., 1977) действительно оказалась басня А. П. Сумарокова, рассказывающая о споре желудка с головой и другими частями тела. В примечании к ней отмечено, что эта басня является переложением на русский язык басни Ж. Лафонтена «Члены тела и желудок». Просматриваю полное собрание «Басен» Ж. Ла-

фонтепа (СПб., 1901) и нахожу эту басню, а следом — пояснение к ней. Комментарий сообщает, что Лафонтен в свою очередь использует сюжет одной из басен Эзопа и что отголоски этой темы встречаются в произведениях Дионисия Галикарнассского, Франсуа Рабле и Уильяма Шекспира. И действительно, в знаменитом романе французского сатирика «Гаргантюа и Пантагрюэль» есть целая глава о мессире Гастере (т. е. Желудке), которому все поклоняются (кн. 4, гл. 57), а в 1-й сцене I акта трагедии У. Шекспира «Кориолан» выведен Менений Агриппа, рассказывающий свою басню и вещающий от имени животного: «...соки я по рекам кровавым / Шлю к сердцу во дворец и к трону мозга» (пер. Ю. Корнеева. Шекспир У. Полн. собр. соч. Т. 7. М., 1960. С. 264.).

В свою очередь в примечании к басне Эзопа отмечено, что этот же сюжет использован Менением Агриппой, в творениях других античных баснописцев, Федра и Бабрия, и в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха.

Вот какой широкий пласт мировой культуры скрыт за внешне грубоватой ленинской репликой в адрес буржуазного публициста,

Ленинград

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Читая детям сказку „Конек-горбунок“, я, как говорится, „споткнулась“ на незнакомом мне слове. Иван поехал, как написано „доставить тоё Жар-Птицу“. Объясните, пожалуйста».

Н. В. Казакова, пос. Малиновка
Калининградской обл.

Ответ на Ваш вопрос мы нашли в книге В. Ф. Барашкова «А как у вас говорят?» (М., 1986). Дело в том, что в сказке П. Ершова «Конек-горбунок» встречается немало слов и выражений, ныне не употребляющихся в русском литературном языке. И в приведенной Вами строке вместо местоименной формы *ту* в винительном падеже употреблена форма *тоё*. Она характерна для некоторых баяющих говоров к востоку от Москвы, в том числе для многих русских говоров Сибири, откуда был родом автор сказки.

ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ

ПАСТЕРНАК

Полгода со дня кончины

БОР. ЗАЙЦЕВ

Время идет. Пастернак все далее отходит в Вечность. Три сосны над его могилой все так же шумят в московском ветре. Зимой бюст его будет поставлен на могиле.

И вот все вспоминаешь его — значит, человек обладал тайной прелести. Почему два раза прочитан «Доктор Живаго» и после него многое кажется серым, неинтересным? Это и есть загадка власти. Ибо нет художника без власти. Только власть эта не навязана, никто не грозит ею, а сама она незаметно овладевает. Тютчева никто мне не приказывал ценить, а вот сам он вошел в меня, без окриков, и уж не уйдет.

В рассказе о последних днях Пастернака супруга его передала журналисту, что более всего жалел он, умирая, что не сможет более писать. Писатель, узнаю тебя! Наша болезнь неизлечима. Узнаю и молодость твоего духа, хоть бытие твое достигло уже библейского предела («Дней лет наших всего до семидесяти, а при крепости до осьмидесяти...»). Пастернаку шел восьмой десяток, но в самом начале. Его Живаго, доктор, кажется старше автора (внутренно), более печален и разочарован. (В Москву он возвращается из тайги уже разбитым кораблем). Усталости, печали в самом Пастернаке по письмам не чувствуешь. Страдал он в жизни много, бурно, но никакого равнодушия и дряхлости к зрелым годам не нашл. Этой зимой близкий мне человек видел его в Переделкине — по его рассказу Пастернак был очень оживлен и бодр.

А литература и искусство глубоко, крепко в нем сидели. Думаю, именно по горячности своей и нездравому смыслу молодости водил он некогда компанию с Маяковским, размахивался и в революцию — что-то ему нравилось во всем этом. Но наступила и расплата. Сам казнит он себя незадолго уже до кончины. «В годы основных и общих нам всем потрясений я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить»... «Везде бросились переводить и издавать все, что я успел пролететь и

нацарапать именно в эти годы дурацкого одичания, когда я не только не умел еще писать и говорить, но из чувства товарищества и в угоду царившим вкусам старался ничему не научиться. Как это все пусто и многословно, какое отсутствие чего бы то ни было, кроме чистой и совершенно ненужной белиберды».

«Моя жизнь далеко не гладкая... — меня окружают заботы и тревоги и на каждом шагу подстерегают, — выразимся мягко ... — неожиданности. Но среди огорчений едва ли не первое место занимают ужас и отчаяние по поводу того, что везде выволакивают на свет и дают одобрение тому, что я рад был однажды за быть и что думал обречь на забвение».

Судит он свою молодость преувеличенно, строгость жестокая, но насколько же лучше это самолюбования и охорашивания перед зеркалом. В нем этого не было, хотя славу, вернее — любовь людей он все-таки любил... — но это так по-человечески! «Вообще лучшая награда за понесенные труды и неприятности то, что лучшие писатели века... книгу читали, кто на других языках, кто в оригинале». «Как все сказочно, как невероятно!»

Поражает его изгиб собственной судьбы: «И только этот баснословный год открыл мне... душевные шлюзы, но совсем с другого боку. И о Фаусте писал я по-немецки по запросу из Штутгарта, где есть Faust Gedenkstätte (место рождения исторического Фауста), и по-английски о Рабиндранате Тагоре (совсем не восторженно) его биографу в Лондоне, и по-французски о назначении современного поэта, и в Италию. И стало легче. Но как это все странно, неправда ли? Оказывается, можно и думать». — То есть, думать, как самому хочется, как думается, а не как велят. «Я послал Вашей дочери Фауста. Вот с каким сожалением и болью сопряжены у меня работы этого рода. Ни разу не позволили мне предпослать этим работам собственного предисловия. А может быть только для этого я переводил Гете, Шекспира. Что-то редкостное, неожиданное всегда открывалось при этом, и как! Всегда тянуло это новое, выношенное живо и сжато сообщить! Но для ...«работы мысли» у нас есть другие специалисты, наше дело только подбирать рифмы».

Да, и Лозинскому, переводчику «Божественной Комедии» в России пришлось соседствовать с предисловием, где Маркс и Энгельс одобряют поэта и дают ему «путевку» в советское издательство. Для Данте понадобились Маркс и Энгельс, а для Фауста в переводе Пастернака пришлось объяснить читателям, в введении, что слово Бог, часто встречающееся в поэме, надо понимать не в том смысле, какой он имеет, а в особом, так что Бог соб-

ственно и не Бог, а что-то вроде «силы социальных отношений».

Судьба Пастернака одна из самых удивительных в литературе нашей — с трагическим и героическим оттенком. Уцелеть при Сталине (отказавшись подписать ходатайство писателей о казни целой группы правых коммунистов), высиживать годы в одиночестве Переделкина, вдруг получить Нобелевскую премию, стать из-за «Доктора Живаго» знаменитым на весь мир, так любить Родину, как он, и при громе рукоплесканий иноземных — от «своих» получать заушения как раз в этом 1959, «баснословном» для него году! Да каких заушений. Целая «кампания» была проведена, исключили из союза писателей, нашли, что он «хуже свиньи», по всей России собрания, митинги, брань, отовсюду гнусные письма — чуть ли не изменник! И никто не читал этого «Доктора Живаго». Он и не издан в России.

Пастернак был человек сильный. Все-таки такая травля дней не прибавляет. Что же, своего добились. Дни сократили. «Баснословный» год, год мировой славы оказался и последним. Полицейские от литературы могут быть покойны: Пастернака нет. Вот уже полгода покоится он в родной земле жестокой родины. Превосходные фотографии (иностранцы!) запечатлели нам его похороны, и его лицо в открытом гробу — приняло особую, выше-торжественную красоту. Гроб окружен любящими, любящие несут его на плечах за версту с чем-то на кладбище, в таком же открытом гробу, как носили в русской деревне покойников в моем детстве. Русские лица, русские лесочки, березы, мимо которых проходит процессия, русский деревянный мостик, столь убогий в простоте своей — но по нем переходит лента людей благополучно — тысяча с чем-то: все это пронзает. Медленно, но в любви и без серпа и молота подвигается Пастернак к Вечности.

* *
*

Из Москвы прислали моей жене два снопика овса, совсем маленькие, с могилы Пастернака. Оба лежали у нас под иконами, славные знаки памяти и любви: наш Пастернак, наша земля взрастила его, как и этот смиренный, иссохший овес, возложенный на его могилу.

И вот нас посетила иностранка, переводчица и поклонница Пастернака. Жена передала снопик графине. Та обняла ее и поцеловала. Французские глаза так же наполнились слезами, как заполняются и русские. И это хорошо. И это радостно. Франция

прижала к сердцу бедный снопок русского овса и унесла его как память, как знак любви.

(Статья Бор. Зайцева взята из сборника статей Studi in onore die Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver. Roma, 1962. P. 729-731, изданного в честь двух выдающихся итальянских филологов — Этторе Ло Гатто и Джованни Мавера).

«Время идет. Пастернак все далее отходит в Вечность» — знакомые читателю слова из только что прочитанной статьи, вернее сказать, щемящей душу эпитафии большого русского писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881—1972), умершего в Париже. Эти слова написаны человеком, лично знавшим Пастернака, высоко ценившим его творчество, мужественно выступившим в его защиту в 1959 году, в тяжелую для поэта пору общественной травли и клеветы.

Время идет... Ушел из жизни Б. Пастернак, ушел Б. Зайцев; одни перешли в мир иной, другие вынужденно покинули Родину. «Иных уж нет, а те далече...» И как уже не раз бывало в истории русской литературы, посмертное общественное признание перечеркивало всю прижизненную напраслину, черную хулу и несправедливость к тем, кто в умах и сердцах людей мыслящих давно стал гордостью Отечества.

Время идет, внося в жизнь свои коррективы. «Знаменитый на весь мир» роман «Доктор Живаго» теперь издан и у нас и получил благодарный прием у читателей. Казалось бы, справедливость восторжествовала, но что-то по-прежнему берedit сердце, будоражит совесть... Может быть, причиной тому пророческие пастернаковские строки, в которых поэт задолго до ухода поведал нам, пережившим его, о неотвратимости своей судьбы?!

Гамлет

Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.

Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

1946

Душа

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Тела их бальзамируя,
Им посвящая стих,
Рыдающе лирою
Оплакивая их,

Ты в наше время шкурное
За совесть и за страх
Стоишь могильной урной,
Покойшей их прах.

Их муки совокупные
Тебя склонили ниц.
Ты пахнешь пылью трупною
Мертвецких и гробниц.

Душа моя, скудельница,
Все, виденное здесь,
Перемолов, как мельница,
Ты превратила в смесь.

И дальше перемалывай
Все бывшее со мной,
Как сорок лет без малого,
В погостный перебой.

1956

К 175-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П. П. ЕРШОВА



Л. Н. МИХЕЕВА,
кандидат филологических наук



лову писателя — дело писателя. Памятуя об этом, должно бережно и внимательно относиться к этому слову. И с особым трепетом, когда перед нами книга такой удивительной судьбы, как легендарный «Конек-горбунок» Петра Павловича Ершова (1815–1869) — сказка, о которой с нежностью вспоминают многие поколения читателей.

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба — на земле
Жил старик в одном селе.

У старинушки три сына.
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.

Впрочем, стоп: почему так – «Против неба – на земле», когда в другом издании: «Не на небе – на земле», и не «У старинушки три сына», а «У крестьянина три сына»? Где правильно? Как было в рукописи у Ершова? Что, наконец, дало право издателям менять авторский текст? Примерно такими вопросами изобилует письмо одного справедливо негодующего читателя, присланное в редакцию журнала. Действительно, почему так много разночтений, вариантов текста сказки?

Но вначале предыстория, или «присказка», ведь речь у нас не только о сказке, но и о сказочнике.

Петербург. Весна 1834 года. Никому до той поры не известный 19-летний студент философско-юридического факультета Петр Ершов издает в «Библиотеке для чтения» «Конька-горбунка» и, словно сказочный герой, мгновенно становится знаменитостью. Восторженный отзыв самого А. С. Пушкина («Теперь этот род сочинений можно мне и оставить»), доброжелательное внимание со стороны профессоров университета (П. А. Плетнев, А. В. Никитенко), поэта В. А. Жуковского, дифирамбы редакторов столичных журналов – словом, «Конек-горбунок» сразу стал читаем и любим.

Чем же объяснить успех творения юного автора и что могло ему не затеряться среди «сказочного потока», буквально хлынувшего в русскую литературу в 30-е годы XIX века? В самом деле, какие имена: А. С. Пушкин, В. А. Жуковский!.. В эту же пору выходят сказки В. И. Даля (Казака Луганского), Н. А. Полевого, О. М. Сомова; подлинным открытием явились «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя... И все же с такой, как ершовская сказка, читающей публике еще не приходилось встречаться. Тут и особая реалистичность, даже «бытовизм» (быт крестьян, торгового люда), и причудливое, порой едва уловимое переплетение яви и вымысла, и бодрый, веселый тон сказа, балагурные, задиристые интонации, неунывающий герой, но, очевидно, главное – личность самого сказочника.

Судьба этого человека необычна, удивительна, как необычна судьба его любимого дитища. Многие критики называли Ершова «человеком одной книги», говорили и так: «Автор народной сказки». Ершовская сказка народна в пушкинском понимании, чужда стилизации, «сблагороженности». Однако это именно *литера-*

турная сказка, а не перепев фольклорных сказочных мотивов, хотя опора на пародно-поэтические традиции несомненна.

«Рожденный в недрах непогоды...», как скажет он о себе в одном из стихотворений, Ершов был выходцем из сибирской деревни. Впечатления детства яркие, калейдоскопичны – отец, полицейский чиновник, часто менял места службы. Отроческие годы Ершов вместе с братом провел в Тобольске, учился в гимназии, где директором был И. П. Менделеев, отец будущего великого химика. Небезынтересно, что Дмитрия Ивановича Менделеева учил в гимназии уже сам Ершов. Жили братья Ершovy в доме дяди со стороны матери – богатого купца Пиленкова. Тобольск в те годы был центром Западно-Сибирского губернаторства, в город наезжали возвращавшиеся из Китая европейские ученые, устраивались концерты оркестра, организованного композитором А. А. Алябьевым; на знаменитую тобольскую ярмарку съезжались купцы из Индии, Ирана, Китая, городов Средней Азии, севера Сибири – все эти внешние впечатления подпитывали любознательность юного Петра Ершова.

Но вернемся в Петербург, к студенту Ершову. Успех у читающей публики не вскружил ему голову, да и после восторженных отзывов в журналах «Библиотека для чтения» и «Северная пчела» последовала неожиданно суровая отповедь В. Г. Белинского в московской «Молве», быть может, именно из-за оваций со стороны О. И. Сенковского и Ф. В. Булгарина. Белинский писал, что сказка-де не имеет художественных достоинств, даже «достоинств забавного фарса», что она не может быть народной, потому что автор ее не побывал в мужицкой шкуре, а потому «из-за зипуна всегда будет виднеться <...> фрак» (Белинский В. Г. Конек-горбунок. Русская сказка. Соч. П. Ершова // Полн. собр. соч.: в 13 т. М., 1953. Т. 1. С. 151). И это прозвучало в то время, когда Пушкин говорил: «Этот Ершов владеет русским стихом, точно своим крепостным мужиком» (Русский архив. 1899. № 6. С. 355).

Заметим, что Белинский вообще скептически относился к тому направлению в русской литературе, которое начал Пушкин своими сказками, и посему вполне естественным было его неприятие сказок Даля и Ершова. Он ставил в вину обоим авторам отсутствие «неподдельной наивности ума, не просвещенного наукою, этого лукавого простодушия, которыми отличаются народные русские сказки» (Белинский В. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 150–151). Налицо явное противоречие: где, как не в «Коньке-горбунке», эти «наивность» ума и «лукавое простодушие». Белинский, однако, прочертил один возможный для литературы путь:

от фольклора — к художественной литературе, все иное понималось им как «простонародность», подделка, патриархальщина.

Страстно любя родной край, «страну умных людей», как заметил в беседе с Ершовым Пушкин (намекая о находившихся там в ссылке декабристах), автор «Конька-горбунка» возвращается в Тобольск, мечтая о просветительской стезе. Он преподает словесность в гимназии, работает много и упорно — и как педагог, и как литератор. Однако злой рок словно преследовал Ершова: еще в Петербурге умер его единственный брат, потом смерть отца, матери; два раза женится Ершов на вдовах, и они умирают, оставляя на его руках многочисленных детей, женится в третий раз; семья все растет, а доходы — увы! — нет. Долгие годы ершовская сказка была под запретом цензуры. Порой Ершов впадал в отчаяние, но все же находил силы преодолеть тягостное состояние духа. Немалую роль в этом сыграли декабристы, приехавшие в Тобольск с поселения: семья М. А. Фонвизина, В. К. Кюхельбекер, И. И. Пущин, П. С. Бобрищев-Пушкин, В. И. Штейнгель. В 1862 году Ершов вышел в отставку и, лишенный любимого дела, привычных забот, испытывавший значительные материальные затруднения, тяжело заболел. Он умер, прожив всего 54 года. Говорили, что после его смерти нашли лишь медный пятак. Да, богатств в житейском смысле слова Ершов, действительно, не нажил, но какой мерой измерить те духовные и художественные ценности, которые он оставил в наследство своему народу?

Итак, при жизни Ершова его «Конек-горбунек» издавался семь раз, не считая первой части сказки, напечатанной в «Библиотеке для чтения». Это были книжные издания 1834, 1840, 1843, 1856, 1861, 1865 и 1868 гг., осуществленные в Петербурге и в Москве. Их тщательное сопоставление позволяет проследить творческую историю сказки, выявить те текстуальные изменения, которые произошли в результате авторской правки, по произволу цензуры или нерадивости редакторов. И хотя по сей день при установлении окончательного варианта текста ершовской сказки среди исследователей нет единого мнения, все же наиболее предпочтительным, апробированным самим автором можно считать текст пятого издания 1861 года, «вновь исправленного и дополненного».

Приведем несколько необходимых, на наш взгляд, пояснений, проливающих свет на творческую историю «Конька-горбунка». Судьба ершовской сказки столь же насыщена сложными и драматическими поворотами и неожиданностями, как и горемычная жизнь ее создателя. Начать с того, что ни рукописи доредакторского варианта «Конька-горбунка», ни наборная рукопись четвертого

издания 1856 года, содержащая основательную авторскую правку, не сохранились. Потери эти невосполнимы, поскольку три первые книжные издания вышли с существенными цензурными изъятиями. Вымаркам подвергались главным образом строки, где выражалось ироническое отношение к царю и придворным. По мнению властей, такое положение вещей противоречило требованиям, предъявляемым к книгам, «назначаемым для чтения простого народа». В них не должно было быть «не только никакого неблагоприятного, но даже и неосторожного прикосновения к православной церкви и установлениям ее, к правительству и ко всем <...> законам» (Лемке Мих. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904. С. 258).

После третьего подцензурного издания «Конек-горбунок» был и вовсе запрещен. Переделанная автором рукопись трижды представлялась в цензурный комитет, но лишь после 13-летних мытарств, после очередной апелляции в высокие инстанции, в 1856 году сказку было дозволено напечатать четвертым изданием.

У читателя может возникнуть вопрос: не погрешил ли Ершов против своей совести, приступая к подготовке столь долгожданного издания? И под давлением властей не смягчил ли он сатирическую остроту и критическую направленность, «повернув сюжет сказки в сторону официальной народности» (Утков В. Г. Дороги «Конька-горбунка». М., 1970. С. 35–36). Эти соображения заслуживают внимания, тем более, что их придерживался такой ученый авторитет, каким был М. К. Азадовский.

Во вступительной статье к книге произведений Ершова он писал: «Без цензурных пропусков сказка впервые была напечатана только в 1856 году. <...> В тексте, правда, уже нет цензурных точек, но это вовсе не означает <...>, что в этом издании восстановлены цензурные купюры первых изданий. В действительности они восстановлены частично, в большинстве же случаев заменены новым текстом — и эти замены продиктованы уже не цензурными соображениями, а изменившимися настроениями самого автора. Во многих случаях заметны переработки в духе официальной народности, к которой скатился автор; зачастую Ершова не удовлетворяет его прежняя манера и старый язык, и он стремится как можно более „обнародить“ стиль, уснащая речь якобы несомненно народными выражениями. Он пишет „далече“ вместо прежнего „далеко“; „рублев“ вместо „рублей“; „коников“ вместо „ковей“; „вынущать“ вместо „выпускать“ и т. д.» (Ершов П. П. Конек-горбунок. Стихотворения. Л., 1961. С. 47–48).

Существуют на этот счет и иные точки зрения. Текстолог Д. М. Климова, например, считает, что основательно переработанный текст четвертого издания представляет собой «по существу — вторую редакцию сказки. Изменения касаются прежде всего изъятого цензурой текста. (...) Всего (...) насчитывается около 300 разночтений по сравнению с предыдущими изданиями. Многие сцены дополнены живыми реалистическими подробностями, введены новые эпизоды, диалоги, авторские отступления, придающие рассказу сочный народный колорит. Кроме того, в текст внесены многочисленные языковые изменения, небольшие по объему, но существенные в стилиевой системе произведения (они составляют около половины всех исправлений), последовательно приближающие изложение к народно-разговорной речи, усиливающие впечатление живости, „сказочности“».

Не соглашаясь с утверждением М. К. Азадовского о том, что в четвертом издании Ершов «во многих случаях (...) смягчил первоначальные (не дошедшие до нас) чтения, — иначе было бы непонятно, почему цензура могла запретить эти чтения» (Ершов П. П. Указ. соч., с. 171), Д. М. Климова считает, что, наоборот, «некоторые места оказались более острыми в цензурном отношении», что «социальные акценты усилены и при переработке многих других мест, не подвергшихся цензурным искажениям» (Ершов П. П. Конек-горбунок. Стихотворения. Вступительная статья И. П. Лупановой. Сост., подготовка текста и примечания Д. М. Климовой. Л., 1976. С. 304).

Ей вторит соавтор по книге И. П. Лупанова: «Тщательное сопоставление изданий обнаруживает, что правка Ершова идет по линии углубления социального конфликта, усиления сатирического звучания образов и дальнейшей творческой разработки народно-сказочной поэтики» (там же, с. 49; см. также: Лупанова И. П. О двух изданиях /первом и четвертом/ сказки П. П. Ершова «Конек-горбунок» // Русский фольклор. Материалы и исследования. М.—Л., 1958. Вып. 3. С. 334—342).

Автору этих строк кажутся более доказательными точки зрения И. П. Лупановой и Д. М. Климовой. Однако смущает одно обстоятельство. Как уже говорилось, наборная рукопись четвертого издания не сохранилась (утеряна или уничтожена?). А посему трудно судить, были ли написаны заново или восстановлены Ершовым изъятые цензурой места... Но вот что безусловно: авторская правка велась в направлении улучшения текста сказки.

При подготовке пятого издания (1861) Ершов беспрепятственно работал над стилем, внося в текст сказки по сравнению с ее

предыдущей редакцией лишь незначительные изменения. Это издание, просмотренное и одобренное автором к печати, и следует считать авторизованным источником ершовской сказки. Вышедшие следом — уже без участия автора! — шестое и седьмое прижизненные издания (1865 и 1868) содержали обилие досадных опечаток и искажений.

Такова вкратце творческая история семи прижизненных изданий «Конька-горбунка». Однако продолжим отвечать на вопросы «справедливо негодующего читателя». Первое четверостишие сказки известно многим в двух вариантах. Один — и он правильный! — нами приведен в начале статьи. Это четверостишие печатается по пятому, *авторизованному* изданию. А вот во всех четырех предыдущих и в автографе, хранящемся в ЦГАЛИ, третья строка звучит по-другому: «Не на небе — на земле».

Казалось бы, все ясно, но ученые баталии вокруг этой строки с переменным успехом ведутся уже второе столетие (!) и не утихают по сей день.

Сумятицу среди исследователей внес первый биограф Пушкина П. В. Анненков, записавший со слов А. Ф. Смирдина, издателя «Библиотеки для чтения», где, как мы помним, впервые был напечатан «Конек», что, дескать, первые четыре стиха ершовской сказки принадлежали Пушкину, «удостоившему ее тщательного пересмотра» (Анненков П. В. [Материалы для биографии А. С. Пушкина]. — В кн.: Сочинения Пушкина ... Изд. П. В. Анненкова. СПб., 1855. Т. 1. С. 166). Свидетельство Смирдина-Анненкова многим показалось столь убедительным, что с 1915 года по инициативе известного пушкиниста Н. О. Лернера ершовское четверостишие стали включать в состав сочинений Пушкина. И печатали так более двадцати лет, пока в 1936 году в запутанное дело не внес ясность М. К. Азадовский, указавший, что стихи эти взяты из пятого ершовского издания, автором тщательно просмотренного и исправленного, а не из вышедшего при жизни Пушкина первого издания (1834), где третья строка имела другую редакцию: «Не на небе — на земле».

С аргументацией М. К. Азадовского, со свидетельствами современников Пушкина и Ершова на этот счет любознательный читатель может подробнее ознакомиться, прочитав статью А. П. Толстякова «Пушкин и „Конек-горбунок“ Ершова» (Временник Пушкинской комиссии. Л., 1982. С. 28–36).

«У старинушки три сына» или «У крестьянина...»? И где правильно? И как было у Ершова? Ответ на этот и другие схожие вопросы, касающиеся разночтений в современных изданиях «Конька-горбунка», можно найти, как это ни покажется на пер-

вый взгляд странным, в разделе «Варианты», где приводятся разные версии одних и тех же строк в пяти прижизненных изданиях сказки (Ершов П. П. Конек-горбунук ... Л., 1976. С. 269–290). Надеемся, что каждый читатель, обратившись к этому бесспорно ценному текстологическому материалу, сможет самостоятельно удовлетворить свой исследовательский интерес. Для части нетерпеливых читателей сообщаем, что разночтения в современных изданиях сказки Ершова вызваны главным образом попытками некоторых публикаторов, полагающихся лишь на собственный вкус, свести воедино варианты разновременных изданий. Таковы, по мнению Д. М. Климовой, в частности, книги Ершова, вышедшие в Омске в 1937, 1950 гг. (там же, с. 305). Печальный список этот при желании можно было бы продолжить... Немудрено: только в советское время вышло свыше 200 изданий «Конька», и не все они, к сожалению, были выполнены текстологически безупречно.

Не лучшим образом складывалась судьба ершовской сказки в дореволюционное время. Уже вскоре после первых изданий «Конька» на книжный рынок хлынул поток подделок и подражаний. Каждый споровистый книгоиздатель спешил поправить свои финансовые дела за счет таланта Ершова. Если с конца 1860 по 1900 год было изготовлено свыше 60 подделок, то за это же время подлинный «Конек» издавался всего 12 раз (Утков В. Г. Дороги «Конька-горбунка». С. 48).

Не брезговал выпускать подделки и такой солидный издатель, как И. Д. Сытин. Дело у него было поставлено на широкую ногу. «Агенты Сытина, многочисленные офени-книгоноши разносят эти подделки по деревням и городам России, проникая, по меткому выражению Мамипа-Сибирика, как вода во все щели» (там же, с. 48–49).

В многочисленных подделках сознательно искажался смысл, изначально заложенный Ершовым, пропадала живость, обаяние сказки, ее сатирическая острота, она превращалась в «развлекалочку», безобидную побасенку. Да и характер главного героя — дурака — с точки зрения обывателей и власть имущих, умного в понимании народа — терял много привлекательных, выразительных черт. Иванушка становился по произволу некоторых нерадивых издателей и подобострастным, и покорным царской воле, и недалеким, жадным. Все это находило поддержку со стороны властей: в подделках выхолащивалось главное — сатирический дух ершовской сказки, и все становилось пресно, невинно благонадежно, бесконфликтно.

Однако среди уймы подделок и подражаний встречались и в

определенном смысле самостоятельные произведения, для которых «Конек-горбунок» послужил лишь сюжетным ходом, а их содержание было всецело связано с тогдашней действительностью. Речь идет о небольшой стихотворной сказке «Конек-скакунок», появившейся на российском книжном рынке в 1906 году. Автором сказки был профессиональный революционер С. А. Басов, выступивший под литературным псевдонимом Верхоянцев.

...Со времени первой публикации сказки Ершова прошло 156 лет, а герои ее по-прежнему молоды, неутомимы, по-прежнему спешат к своим читателям.

Когда-то Ершов высказал уверенность, что его сказке предстоит «тешить люд честной» до тех пор, «пока русское слово будет находить отголосок в русской душе, т. е. до скончания века» (Петр Павлович Ершов, автор сказки «Конек-горбунок». Биографические воспоминания университетского товарища его А. К. Ярославцева. СПб., 1872. С. 155). Слова эти сбылись, его бессмертное творение и поныне завоевывает любовь и признательность у детей и взрослых.



Словах и выражениях
сказки П. П. Ершова
"Конёк-горбунок"

В. Н. ВАКУРОВ,
доктор филологических наук

В: «Конёк-горбунке» П. П. Ершов широко использовал народную речь. Сегодня, полтора века спустя, не только юным, но и взрослым читателям не всегда понятны в его сказке многие слова и выражения. О них мы и расскажем.

Помните, в начале сказки братья уговаривают Иванушку идти стеречь пшеницу, но он не слушает их. Тогда...

Подошел к нему отец,
Говорит ему: «Послушай,
Побегай в дозор, Ванюша;
Я куплю тебе лубков,
Дам гороху и бобов».

Каких же лубков обещает отец Иванушке?

Лубом называют кору дерева, обычно липы. Из луба плели лапти, корзины, рогожу и многое другое. Существовали даже *лубяные базары*, на которых продавались эти изделия. Слово *лубок* означало липовую доску, на которой гравировалась, то есть вырезалась картинка для печатания ее на бумаге. Затем *лубком* стали называть и саму картинку, напечатанную с этой доски. Таким образом, отец обещает Ивану купить цветных картинок, которые назывались также *лубочными картинками*.

Иванушка выследил и поймал кобылицу, которая «в поле стала ходить и пшеницу шевелить». Кобылица говорит Ивану:

Двух рожу тебе коней —
Да таких, каких поныне
Не бывало и в помине;
Да еще рожу конька...
Двух коней, коль хошь, продай,
Но конька не отдавай

Ни за пояс, ни за шапку,
Ни за черную, слышь, бабку.

Здесь требует пояснения словосочетание *черная бабка*. Бабки — это кости надкопытных суставов ног у животных. Такие кости использовались в старинной русской игре в *бабки*. Эта игра воспета А. С. Пушкиным в стихотворении «На статую играющего в бабки»:

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился... прочь! раздайся, народ любопытный.
Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.

Суть игры заключалась в том, чтобы выбить одну-две бабки, поставленные на кон противником. В качестве биты использовалась крупная (обычно из бычьей кости) бабка. Чтобы она стала тяжелей, в ней просверливали дырку и заливали свинцом. Пушкинская «меткая кость» — это и есть бабка-свинчатка. Чтобы отличить бабку-биту от стоящих в кону, ее окрашивали в черный цвет или обжигали. Хорошая, «удачливая» бабка-бита высоко ценилась игроками. Именно о такой ценной для Иванушки бабке черного цвета идет речь в «Коньке-горбунке».

Вернувшись домой, Иванушка...

Отправляется на печь
И ведет оттуда речь...
«...Вдруг приходит дьявол сам,
С бородою и с усам...
Я шутить ведь не умею —
И вскочи ему на шею.
Уж таскал же он, таскал,
Чуть башки мне не сломал,
Но и я ведь сам не промах,
Слышь, держал его, как в жёмах...»

Слово *жом*, образованное от глагола *жать*, имеет значение «пресс». В старину при помощи жома выжимали масло из семян льна, конопли и горчицы. Кстати, подсолнечное масло появилось относительно недавно. Подсолнух был завезен в Европу в начале XVI века из Мексики. Сначала подсолнух разводили как красивый заморский цветок. Петр I, будучи в Голландии, увидел этот цветок и послал семена в Россию. А в 1841 году воронежский крестьянин Бокарев научился выжимать с помощью жома растительное масло из семян подсолнуха.

Вернемся к сказке. Братья Ивана — Гаврило и Данило — украли двух коней золотогривых:

Старший, корчась, тут сказал:
«Дорогой наш брат Иваша,
Что переться — дело наше!
Но возьми же ты в расчет
Некорыстный наш живот».

Слово *живот* (оно образовано с суффиксом *-от* от основы настоящего времени глагола *жить*) в этом отрывке использовано в устаревшем значении «имущество, добро, достаток». Оно входит в поговорки: *Хлеб да живот и без денег живет; Мил животом, коли сам наживешь. Живот употреблялось также в значении «жизнь».* В стихотворении А. С. Пушкина «Из Вольтера («Нороче дни, а ночи доле»)» читаем:

И дабы впредь не смел чудесить,
Поймавши истинно повесить
И живота весьма лишить.

Слово *живот* в этом смысле сохраняется в русских народных выражениях: *Не щадя живота своего; Сражаться не на живот, а на смерть.*

А Гаврило и Данило с крадеными конями пришли в град-столицу:

В той столице был обычай:
Коль не скажет городничий —
Ничего не покупать,
Ничего не продавать...
Рядом едет с ним глашатый,
Длинноусый, бородатый;
Он в злату трубу трубит,
Громким голосом кричит:
«Гости! Лавки отпирайте...
Чтобы не было содому,
Ни давёжа, ни погрому...»

Здесь требуют объяснения слова *гости* и *содом*. *Гостями* когда-то на Руси называли заморских купцов, которые привозили разные товары. *Содом* — слово из состава крылатого выражения *Содом и Гоморра*, означающее «разврат, крайний беспорядок, шум, суматоха». Выражение это восходит к библейскому мифу о городах Содоме и Гоморре в древней Палестине, которые за грехи их жителей были разрушены огненным дождем и землетрясением.

А между тем наш Иван продал царю двух коней золотогривых за десять шапок серебра, а они убежали:

Царь отправился назад,
Говорит ему: «Ну, брат,
Пара нашим не дается;

Делать нечего, придется
Во дворце тебе служить.
Будешь в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Всю конюшенну мою
Я в приказ тебе даю...

Здесь интересно сочетание *красно платье*. Не следует думать, что Иванушка будет наряжаться в одежду красного цвета.

В древнерусском языке красный цвет назывался словом *червлёный*. Оно употреблялось в русском языке до XVI–XVII веков, после чего было заменено словом *красный*. А до этого *красный* использовалось только в таких значениях: «красивый», «нарядный», «почетный», «ценный», «ясный», «дорогой» и др. Эти значения слова сохраняются в литературном языке XIX–XX веков.

Чаще всего эпитет *красный* в произведениях фольклора применяется к слову *девушка (девица)*, например, в народной песне, которую пели на смотринах:

Во столовой новой горнице,
Что в кути за занавесой,
Тут сидела красна девица,
Свет Елена Павловна.

Образ красной весны использован в поговорке: *На чужой стороне и весна не красна*.

Вот и лето пришло, ярко сияет солнце. *Солнышко красит*, — говорили в народе, настали *красные деньки*.

Слово *красный* встречается во многих русских пословицах и поговорках, например: *Бой красен мужеством, а приятель дружеством; Птица крыльями сильна, жена мужем красна; Без обеда не красна беседа; Велик звон, да не красен; Дело толком красно; Серенькое утро — красный денек; Не красна изба углами, а красна пирогами*. Кстати, какой угол в избе красный? Как пишет В. И. Даль, — красный угол — «передний, старший...», обычно обращен к юго-востоку; солнце утром входит в избу передними, *красными окнами...*» (Толковый словарь живого великорусского языка). *Красная площадь* — это лучшая, красивая площадь. *Красное крыльцо* — парадное, главное.

Слово *красный* употреблялось также в значении «счастливый, радостный, безмятежный», например: «Играйте же, дети! Растите на воле! / На то вам и красное детство дано...» (Некрасов. Крестьянские дети).

Лучший строительный лес — хвойный. Именно он шел на строительство крепостных стен и кораблей. Не случайно хвойный лес получил название *красный лес*. И лучшая рыба называется *красной*. Это не рыба красного цвета, а рыба высшего качества. Сравните: «Когда-то лавливали ловцы красную рыбу — осетра, белугу, севрюгу» (Соколов-Микитов. Весенняя путина). Таким образом, *красная рыба* — это рыба семейства осетровых. *Красный хлеб* — это пшеница; *красный поезд* — это свадьба на тройках; *красный товар* — ткани; *красный зверь* — медведь, волк, лиса, рысь; *красная дичь* — тетерев, глухарь, гусь, утка и др. *Красным железом* в старину называли дамасскую булатную сталь.

Итак, наш герой «при конюшне царской служит». А нужно сказать, что во дворце служил завистливый спальник «придворный чин в Русском государстве 15–17 веков», который «до Ивана был начальник».

Спальник начал примечать,
Что Иван коней не холит,
И не чистит, и не школит;
Но при всем том два коня
Словно лишь из-под гребня...
«...Дай-ка я подкараулю,
А нешто, так я и пулю,
Не смигнув, умею слить,—
Лишь бы дурня уходить.
Донесу я в думе царской,
Что конюший государственной —
Басурманин, ворожей,
Чернокнижник и злодей...»

Какую же пулю слить решил спальник и кто такой чернокнижник?

В русском языке существует выражение *лить пули*, которое имеет такое значение: «бессовестно врать, рассказывать что-либо неправдоподобное». Помните, как Н. В. Гоголь в «Мертвых душах» характеризует беззастенчивого враня Ноздрева: «И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти, и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнеси: „Ну, брат, ты, кажется, уже начал пули лить“».

Почему же бессовестное вранье приравнивается к литью пуль? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассказать о близком по смыслу выражении *лить колокола*.

Один из персонажей пьесы А. Н. Островского «За чем пойдешь, то и найдешь» замечает: «Мало ли разговору, да всему ве-

речь-то нельзя. Иногда колокол лют, так нарочно пустую молву пускают, чтоб звончее был». Действительно, такой обычай существовал в средневековой Руси. Считалось, что чем нелепее выдумки, чем неправдоподобнее небылицы, тем более гулким и звонким будет колокол. В. И. Даль в Толковом словаре живого великорусского языка приводит поговорки: *Колокол отливают, так вести распускают; Вести-то пустили, да колокола не отлили*. Этот же обычай стал использоваться позже и при литье пушек. Отсюда ясно, почему выражения *лить колокола* и *лить пушку* приобрели значение «врать, распускать сплетни». Видимо, эти выражения дали жизнь поговорке *лить пули* в значении «бессовестно врать».

В просторечии известен глагол *заливать*, рожденный от синонимичных выражений *лить колокола*, *лить пушку*, *лить пули*.

Встретившееся в приведенном отрывке слово *чернокнижник* означает «колдун, волшебник, который колдовал с помощью черных книг». Это колдовство основывалось якобы на общении с так называемой нечистой силой (слово *черный* употреблялось как название черта).

В значении «чернокнижие» известно словосочетание *черная магия* — «колдовство с помощью адских сил». В старину чернокнижники жестоко карались. В указах царя Федора Алексеевича учителям магии и чернокнижия полагалось сожжение.

А что же наш Иван и его друг Горбунук? Иванушка «не весел, головушку повесил». Ведь царь велит в свою светлицу доставить Царь-девицу. Делать нечего, наш герой

Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся;
Вынул хлеба ломоток
И поехал на восток
По тоё ли Царь-девицу.
Едут целую седмицу...

Здесь автор использовал слово *седмица*, образованное от числительного семь и означающее «неделя».

В «Коньке-горбунке» много словесных загадок, рассыпанных щедрой рукой русского сказочника. Мы ответили только на некоторые из них.

О речевой маске Репетилова

И. Б. КАЧИНСКАЯ

Г. О. Винокур обратил некогда внимание на то, что в «Горе от ума» многие фамилии, представляющие собой «живую внутреннюю форму» и так или иначе характеризующие персонажей, связаны «с идеей речи» (Винокур Г. О. Избр. работы по русскому языку. М., 1959. С. 261). Тугоуховский туг на ухо, ходит со слуховой трубкой. Молчалин скуп в речах — «нынче любят *бессловесных*»; Винокур замечает, что «есть сцены, в течение которых он вообще не произносит ни слова» (там же). Скалозуб предстает в комедии записным остряком, зубоскалом — «шутить и он горазд»; слово *скалозуб*, встречающееся еще у В. К. Тредиаковского в «Письме от приятеля к приятелю...» (1750), объясняется в Словаре В. И. Даля как «зубоскал» и «пересмешник». Возможно, что звукоподражательное происхождение имеет фамилия Хрюминых, заключающая в себе намек на характерный звуковой жест. Фамилия Фамусова связана с «его театральной маской болтуна и сплетника» (Винокур Г. О. Указ. соч. С. 260) — ср. франц. *fameux* «знаменитый, известный» и лат. *fama* «молва».



В этом же ряду находится и Репетилов: этимология его фамилии прозрачна — франц. *répéter* «повторять, твердить; разг. болтать» или лат. *repeto* «повторяю».

Что же «повторяет» Репетилов? В ранней редакции комедии, в «Музейном автографе», один из его монологов содержал признание, не вошедшее в окончательный текст: «Я сам что раз прочту, то повторяю с жаром, / Сто раз везде и всем» (Грибоедов А. С. Горе от ума. М., 1969. С. 223; далее цитируется это издание). Как карикатуру на тех, кому «не должно сметь свое суждение иметь», воспринимали образ Репетилова современники: один из прототипов — некто Шатилов, о котором Алексей Николаевич Веселовский, ссылаясь на воспоминания С. Н. Бегичева, друга Грибоедова, писал: «Страсть повторять чужое была вообще отличительной чертой Шатилова, почему друзья находили переделку фамилии остряка очень удачною» (Русский архив. 1874. Т. V. С. 1555; ср. *répéter par oui-dire* «повторять с чужих слов»). Все, о чем этот персонаж «болтает, не имеет корней в нем самом, ни в малейшей степени не является его убеждением. Он — Репетилов <...> „Повторяльщик“ чужих мыслей» (Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. М., 1951. С. 370). Однако внутренняя форма имени героя не всем казалась мотивированной: «Репетилов в комедии болтает, но вовсе не повторяется. Он настолько глуп, что не способен даже повторять чужие мнения, быть „Повторяльщиковым“ чужих мнений» (Черных П. Я. Заметка о фамилиях в «Горе от ума» // Докл. и сообщ. филол. фак. МГУ. 1948. Вып. 6. С. 48). Думается все же, что ближе к истине были Бегичев и Веселовский. В их пользу свидетельствует не только содержательная сторона образа, но и формальная, языковая: основной речевой характеристикой Репетилова оказывается повтор.

Этот прием использован столь многообразно, что заставляет обратиться к традиционной риторической терминологии и дать развернутую классификацию его применений. Так, в пределах сравнительно небольшой роли — около полутора ста стихов — дважды (с незначительными изменениями пунктуации) повторена целая фраза: *Что за люди, mon cher!* Многократно дублируются отдельные слова. Иногда они следуют друг за другом — такой прием античные ораторы называли эпидзевксисом: «*A! non l'ashyar mi, no, no, no*» («Ах, не оставь меня, нет, нет, нет!») — цитата из популярной итальянской оперы, что еще раз характеризует Репетилова как «Повторяльщикова»; *И приговаривать: писать, писать, писать; Брат, смейся, а что любо, любо. Повторяющееся слово может стоять в разных падежах. Это полиптотоп: И дельный разговор зашел про водевиль. / Да! водевиль*

есть вещь, а прочее всё гиль; ср.: Мы с ним... у нас... одни и те же вкусы.

Очень часто встречаются анафоры («вынесение вперед»): *Что Репетилов врет, что Репетилов прост; Шумим, братец, шумим* и др.

Более редки эпифоры («вынесение назад») и эпанафоры («вынесение вперед и назад»): *Пожалостю молчи, я слово дал молчать* (эпифора); *Секретари его все хамы, все продажны* (эпанафора). Особенно назойливо у Репетилова повторение однокорневых слов: *Решишь, а мы! у нас... решительные люди; Век с англичанами, вся английская складка; Ты не знаком? о! познакомься с ним; Ты не слыхал, как он поет? о! диво! / Послушай, милый; Читал ли что-нибудь? хоть мелочь? / Прочти, братец* (здесь Репетилов уже второй раз спрашивает Чацкого о круге его чтения: *Читал ли ты? есть книга...*); *Засяду, часу не сижу*.

Обилие повторов — это свойство либо разговорной, либо поэтической речи; в стандартном, официальном литературном языке, напротив, наблюдается тенденция всячески избегать тавтологии, плеоназмов и проч. Все герои Грибоедова находятся, казалось бы, в равном положении: они поставлены в условия устной речи, трансформированной средствами поэтического языка («Горе от ума» ориентировано на московское просторечие начала XIX в. и написано вольным ямбом, что опять-таки максимально сближает язык поэзии с разговорным). И тем не менее исследователи разделили персонажей комедии на тех, чей язык тяготеет к книжно-письменной (риторической) и к устной (просторечной) стихии. Основным носителем первой был назван Чацкий, основным носителем второй — Фамусов. Характерно, что в использовании повтора как стилиобразующего приема язык Репетилова обнаруживает много общего с речью того и другого. И у Фамусова, и у Чацкого мы постоянно встречаемся с удвоением и утроением слов и словформ: *Чтоб наших дочерей всему учить, всему; Здорово, друг, здорово, брат, здорово; Мундир! один мундир!; А мы вас ждали, ждали, ждали; Я постараюсь, я, в набат я приударю; Карету мне, карету!* и т. д. Однако по интенсивности приема Репетилов оставляет обоих персонажей далеко позади.

Возьмем, к примеру, такой синтаксический оборот, как обращение — его наличие служит надежным показателем «разговорности» речи. О частотности обращений у Фамусова читатель может судить сам — приведем примеры только из I действия: *Молчалин, брат, Софья, друг, сударыня, Софья Павловна, посетитель, сударь, матушка, сударь мой, Сонюшка, сударь, друг, брат,*

бабушка. В целом обращения занимают 2.1% от объема всей роли Фамусова, тогда как у Чацкого этот показатель равен всего лишь 0.3%, а в первых двух действиях обращений в его репликах нет вовсе. Но у Репетилова слова в этой синтаксической функции употребляются еще чаще, чем у Фамусова — их у него 2.6%. При этом обращение *брат* повторяется дважды, *братец* — трижды, *mon cher* — четырежды. Любопытно нагнетение обращений при встрече Репетилова и Чацкого (четыре подряд!): <...> *приятель!.. / Сердечный друг! Любезный друг! Mon cher!* По-видимому, здесь происходит обнажение приема, доведение его до абсурда.

Ярким примером риторической концентрации тождественных грамматических форм может служить фраза Репетилова, соединяющая в себе 12 однородных сказуемых, 11 из которых стоят в форме глаголов прошедшего времени ед. ч. муж. р.: *заслужил... дорожил... бредил... забывал... обманывал... играл... проигрывал... держал... пил... не спал... отвергал.* Для сравнения: предельное число однородных членов у Фамусова — 5 (*был... вышел... не запер... не досмотрел... не дослышал*); у Чацкого — 7 (*мучителей... предателей... рассказчиков... умников... простаков... стариков*).

Итак, речь «Повторяльщикова» отличается сгущением приема, осуществляемого на небольшом словесном материале, и поэтому повтор становится его характеризующим признаком, неотъемлемым свойством персонажа, превращается в знак его образа, неизменный на протяжении всего действия. Приведем еще примеры. Известное в ораторском искусстве нагнетение предлогов или союзов риторы называли полисиндетон. Эту фигуру очень любит велеречивый Фамусов: *И танцам! и пенью! и нежностям! и вздохам!*; *И черти, и любовь, и страхи, и цветы; А с чувством, с толком, с расстановкой*; однако если у Фамусова полисиндетон уходит корнями в просторечие: *На листе черкну на записном; Я должен у вдовы, у докторше, крестить; <...> по по расчету / По моему: должна родить; По матери пошел, по Анне Алексеяне,* — то у блестящего оратора Чацкого он имеет сугубо риторическую природу: *А сверстничек, а старичок; Без горя нынче? без печали?; И нравы, и язык, и старину святую, / И величавую одежду на другую; Которые во мне ни даль не охладил, / Ни развлечения, ни перемена мест.* А вот полисиндетон у Репетилова, появляющийся на скрещении двух стилей — просторечного и риторического: *Что пустомеля я, что глуп, что суевер, / Что у меня на все предчувствия, приметы; Что Репетилов врёт, что Репетилов прост; <...> теперь с людьми я знаюсь / С умней-*

шими!!; <...> как схватятся о камерах, присяжных, / О Бейроне, ну о матерях важных.

Часто полисиндетон связан не только с перечислением однородных членов предложения, но входит в более сложное анафорическое построение и участвует в образовании периода. Этим ораторским приемом постоянно пользуется Чацкий: *Как будто не прошло недели; / Как будто бы вчера вдвоем; / Где время то? где возраст тот невинный; Вот те, которые дожили до седины! / Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! / Вот наши строгие ценители и судьи!; Чтоб кроме вас ему мир целый <...> Чтоб сердца каждое биенье <...> Чтоб мыслям были всем, и всем его делам; Как человеку вы, который с вами взрос, / Как другу вашему, как брату; С такими чувствами! с такой душою.* Все эти реплики Чацкого характеризуют его как мастера «высокого» или «среднего» жанров: политической оды, сатиры, послания, элегии. Фамусов замечает о Чацком, что он «славно пишет, переводит» (и даже – «говорит как пишет»). Репетилов тоже не чужд сочинительства, хотя, в отличие от Чацкого, его удел – «низкие» и, по преимуществу, устные жанры – он «рожает» каламбуры и «лепит» водевили. В языке Репетилова «высокая» речь Чацкого предстает пародийно сниженной, и те же приемы (в данном случае – анафора, анафора+полисиндетон) выглядят несколько иначе, чем у его «высокого» двойника: *Пускай лишусь жены, детей <...> Пускай умру на месте этом; И так же он сквозь зубы говорит, / И так же коротко обстрижен для порядка; Ты не знаком? о! познакомься с ним <...> Ты не слышал <...> Послушай, милый <...> Читал ли что-нибудь? <...> Прочти, братец; Другие у меня мысль эту же подцепят <...> Другие шестеро на музыку кладут, / Другие хлопают, когда его дают.*

То же и с другим распространенным риторическим приемом – градацией, усилением синонимического ряда. Иногда он встречается у Фамусова: *Принять его, позвать, просить, сказать, что дома, / Что очень рад; Безумных развелось людей, и дел, и мнений; В Сенат подам, министрам, государю.* У Чацкого эта фигура интенсивно используется на протяжении всей роли, причем синонимы часто располагаются по три: *Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит; Теряться по свету, забыться и развлечься; Тоска, и озанье, и стон; Пустого, рабского, слепого подражанья; Спешил!.. летел! дрожал!; Муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей.* Но самые выразительные примеры градации находим у Репетилова. Так, в одном случае синонимический ряд оканчивается многоточием – по-видимому, он мог бы быть бесконечным, если бы Чацкий короткой репликой (*Да полно вздор молоть*)

не оборвал неисчислимые (в отличие от риторически организованного троекратия) повторы Репетилова: *Пускай лишусь жены, детей, / Оставлен буду целым светом, / Пускай умру на месте этом, / И разразит меня господь...* Другой пример: *Я жалок, я смешон, я неуч, я дурак* — заставляет предположить пародийно сниженный перифраз из Державина: *Я царь, я раб, я червь, я Бог* (ода «Бог»), где одический прием контраста (царь — раб; червь — Бог) заменяется отношением тождества (жалок=смешон=неуч=дурак). Можно добавить также, что градация у Репетилова не всегда выдержана и сбивается порой на тавтологию: *Что путемеля я, что глуп, что сусвер; Что у меня на все предчувствия, приметы; А у меня к тебе влечение, род недуга, / Любовь какая-то и страсть; Ругай меня, я сам кляню свое рождение; Сам плачет, и мы все рыдаем; Какая чепуха (...)* Вранье (...) Химеры (...) Дичь.

Г. О. Винокур писал о том, что литературному персонажу придаются иногда «свойства речи (...) принадлежащие ему как нечто постоянное и неизменное, сопровождающие его в любом его поступке или жесте». Этот метод языковой характеристики «может быть назван методом языковой маски, потому что здесь языком характеризуется персонаж как таковой, самый образ его, независимо от условий действия, в которых он развивается. Метод языковой маски применен в «Горе от ума» в нескольких случаях» (Указ. соч. С. 297). Одним из них, не отмеченным Винокуром, следует признать построение речи у Репетилова. Определяющую черту его образа составляет повтор — мыслей, фраз, слов и даже грамматических форм,

ПИСАТЕЛЬ И ЕГО ЧИТАТЕЛЬ



М. В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
кандидат филологических наук

Писатель работает со словом. Погружаясь в родную речь, он нередко начинает задумываться о вопросах и чисто лингвистических. И делиться своими размышлениями с читателями. Иногда это бывает важно. Иногда — любопытно. А бывают случаи, когда, читая языковедческие раздумья некоторых авторов, нет-нет, да и вспомнишь бессмертные строки И. А. Крылова о той беде, которая случится, если пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник...

Начну с признания, чтобы не быть заподозренным в неумеренной придирчивости: я всегда относился с интересом к творчеству Владимира Алексеевича Солоухина. Его «Письма из Русского музея», «Капля росы», «Черные доски» — в числе тех книг, которые порой перечитываю. И тем досаднее ошибки хорошего прозаика, которые случаются тогда, когда азарт увлекает его в непривычную сферу лингвистических исследований. Все-таки занятие языкознанием — это профессия.

О книге В. Солоухина «Камешки на ладони» я был наслышан, но читать ее внимательно мне до сих пор не доводилось. Но вот в руки попало ее издание, вышедшее «Молодой гвардией» (редактор И. Соболев) в 1982 году 100-тысячным тиражом.

Открываю эту любопытную книгу, с чем-то соглашаюсь, что-то не принимаю, однако читаю с интересом. Но вот дохожу до стр. 249 и здесь меня повергает в недоумение следующее утверждение:

«Что делает язык, ассимилируя и переваривая иноземные слова! Наше прозаическое огородно-базарно-кухонное слово „помидор“ происходит от французского „помм д'амур“ (Pomme d'amour), то есть яблоко любви!»

Оставим на совести автора и редактора неточность в написании французского словосочетания: в конце слова l'amour буква e не ставится. Но речь не о том...

Ошибся Владимир Алексеевич: «лямур» здесь ни при чем. Слово *помидор* никогда не имело никакого отношения к французскому слову l'amour — «любовь», и этот факт известен даже студентам-филологам. Достаточно заглянуть в третий том «Этимологического словаря русского языка» Макса Фасмера, выпущенного в московском издательстве «Прогресс» в 1971 году (перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева), чтобы заручиться необходимыми сведениями. В этом четырехтомном справочном издании на стр. 323 указано, что слово *помидор* представляет собой заимствование из итальянского языка. Оно возникло на основе словосочетания *rosi d'oro*, то есть «золотые яблоки». Точно такую же информацию об итальянском происхождении слова *помидор* («золотое яблоко») можно было бы получить и на стр. 353 другого справочника: «Краткого этимологического словаря русского языка» (М.: Просвещение. 1971; авторы — Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская). И, право, словари эти не так уж трудно было бы найти как самому автору книги, так и ее редактору...

Однако читаем книгу В. Солоухина дальше. На стр. 254 находим следующее раздумье:

«Теперь я читаю: „Бульвар Вешних вод“. Почему? Какие вешние воды? Если просто вешние воды, то они текут везде, если повесть Тургенева, то бульвар этот (новый) никаким образом с Тургеневым не связан».

Здесь, как мы видим, писатель касается важного и во многом наболевшего вопроса — названий улиц. При этом чуть ранее в той же книге В. Солоухин совершенно справедливо замечает, что «старые названия улиц очень живучи и звучат очень естественно, не натянуто». Этот московский топоним, не скрою, мне тоже не очень нравится, но все же... Во-первых, не бульвар Вешних вод, а улица Вешних вод. Во-вторых, до 1964 года (когда некоторые части Большой Москвы еще не были включены в

ее состав, после чего возникла необходимость убирать одноименные названия) она носила другое название — Тургеневская, и это уже многое объясняет. Об этом, а также о том, что улица была переименована «в память И. С. Тургенева по названию одной из его повестей «Вешние воды», можно прочесть на стр. 92 справочника: «Имена московских улиц». Под общ. ред. А. М. Пегова. М.: Московский рабочий. 1979 (издавался он неоднократно). Именно здесь В. Солоухин, а вместе с ним — и его читатели, — мог бы получить ответ на вопрос «Почему?»

Вслед за рассуждениями о вешних водах идет, к сожалению, достаточно «кустарный» с лингвистической точки зрения сюжет. На стр. 254 Владимир Алексеевич пишет:

«Раньше на фортепьяно играли при свечах. Свечи были дороги. Поэтому и говорили иногда: „Игра не стоит свеч“. Это значило, что игра была плохая».

Но так ли на самом деле сложилось выражение *игра не стоит свеч*? Что известно о нем специалистам-языковедам?

И в этом случае особых тайн нет. В одном из лингвистических словарей, я имею в виду «Фразеологический словарь русского языка» под ред. А. И. Молоткова (М.: Русский язык, 1978), на стр. 178 читаем: «Первонач.: выигрыш так мал, что не окупает *стоимости* свечей, сгоревших во время игры (в карты). Перевод французского выражения: *Le jeu ne vaut pas la chandelle*. Лит.: М. И. Михельсон. Русская мысль и речь..., т. 1. СПб., 1912, с. 357; Толковый словарь русского языка, под ред. проф. Д. Н. Ушакова, т. 1, М., 1935, с. 1128». (Внимательный читатель заметит, что цитируемые издания выходили в свет и в другие, более поздние годы, однако здесь приводятся лишь те их выпуски, к которым на разных этапах работы над рукописью могли обратиться автор и его редактор). И это, смею утверждать, не единственный источник, который рассказывает о происхождении данного фразеологизма. А посему В. Солоухину вряд ли стоило бы так категорично писать о своем понимании выражения *игра не стоит свеч*. Ведь читатель весьма доверяет и писателю с таким именем, и известному издательству...

Не меньшее недоумение испытываешь и при прочтении на стр. 199 книги «Камешки на ладони» следующей мысли:

«В современных романских языках (то есть в языках, происшедших от латыни), особенно во французском и английском, ужасно искажено произношение написанного. Вместо торжественного и полного „монсиньор“ или „мон сир“ (мой государь) в написании *monsieur* французы произносят скороговоркой „месье“».

В этом высказывании В. Солоухина сразу две ошибки. Одна заключена в написании французского слова *monsieur*. Школьник, изучающий французский язык, даже опираясь на сведения из своего самого первого учебника, может убедиться: здесь после буквы *e* обязательно пишется буква *u*. Вторая ошибка — грубейшая. Английский язык — отнюдь не романский!.. Надеюсь, что можно было бы и не доказывать ошибочность этого заблуждения В. Солоухина, однако факты — прежде всего. Поэтому тем, кто сомневается, советую заглянуть даже не в специальный языковедческий справочник, не в лингвистическую монографию, а в ... «Советский Энциклопедический Словарь» (М.: Сов. Энциклопедия, 1980). В нем на стр. 1148 можно прочитать краткую информацию о романских языках, а на стр. 56 говорится о том, что английский язык относится к германской группе индоевропейской семьи языков.

Разумеется, мое уважение к Владимиру Алексеевичу Солоухину как к прозаику и поэту от этих фактов уменьшилось не слишком сильно. Однако неприятный осадок остался. Равно как и беспокойство о десятках тысяч читателей, введенных в заблуждение.

Между прочим, в этой же книге — «Камешки на ладони» — В. Солоухин поделился с нами и таким наблюдением, спорить с которым не берусь:

«Один факт — случайность, два — преднамеренность, три — тенденция, четыре — традиция»...

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ

Вряд ли есть необходимость говорить пространно о месте в поэзии русского «серебряного века», которое занимал талантливый поэт-лирик Константин Дмитриевич Бальмонт (1867—1942). Признанный мэтр русского символизма, человек энциклопедических знаний, полиглот, известный своими переводами скандинавских авторов (Г. Брандеса, Г. Ибсена), испанских (Лопе де Вега, Тирсо де Молина), блестящий знаток и переводчик английской поэзии (Дж. Байрона, У. Блейка, П. Шелли), маститый критик и эссеист. Слава и признание шли за ним по пятам, а после выхода стихотворного сборника «Будем как Солнце» (1902) его нарекли «королем поэтов». Строгий в своих оценках А. Блок так отзывался о Бальмонте в 1907 году: «Никто... не равен ему в «певучей силе» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.—Л., 1962. С. 136).

И в оригинальной поэзии, и в мастерски отделанных переводах Бальмонт, не скупясь, по-царски одаривал «игрою тонкою тканью»; его музыкальные, протяжно-напевные строфы с многочисленными аллитерациями и созвучиями были отмечены блеском и задором, а талант его, как говорили в старину,—искрой божьей. Однако нельзя обойти молчанием и другие, нелестные для поэта, оценки. Критики упрекали его в чрезмерности банальных красотостей, в вялости и бессодержательности некоторых стихов, предсказывали «конец Бальмонта», и возникший в 10-е годы термин «бальмонтизм» указывал на неприятие и неговорование части, даже подготовленной к восприятию поэзии, публики. Причины тут, на наш взгляд, как субъективного, так и объективного характера. Не вдаваясь в эти непростые подробности, обратимся ко времени, когда Бальмонт, не приняв Октябрь 1917 года, решает навсегда оставить родину.

Отъезд произошел летом 1920 года и уже вскоре в Праге, в Берлине, затем в Париже, где Бальмонт окончательно поселился, им были напечатаны стихи, в которых щемящая тоска и неприкаянность русского человека, лишившегося родной почвы, прозвучали столь искренне и полногласно, что не услышать этого мог лишь глухой, как не прочесть — незрячий. Вот лишь две строки из стихотворения «Только», датированного 15 октября 1920 года:

И мне в Париже ничего не надо.
Одно лишь слово нужно мне: Москва.

Или другие две строки из стихотворения «Она», написанного тоже в Париже, только спустя два года:

Я слово не найду нежней,
Чем имя звучное: Россия.

В таком или примерно таком расположении духа Бальмонт передает свою статью «Русский язык» в парижский журнал «Современные записки», где ее и печатают в 1924 году в номере 19-м. Известно, что в 20-е годы Бальмонт довольно интенсивно трудился, в частности над проблемами языка. Однако есть догадка, и она небезосновательна, что в усеченном виде «Русский язык» поэт печатал раньше, быть может, еще в России в каком-нибудь периодическом издании, но пока, к сожалению, следа этой предполагаемой публикации обнаружить не удалось. Так или иначе появление статьи в «Современных записках» обусловлено, на наш взгляд, причинами исключительно личного, ностальгического устроения; по крайней мере трудно найти безупречно логическое обоснование для напечатания этой статьи в 1924 году, когда академические и общественные страсти и волнения по поводу принятия новой русской орфографии улеглись.

Декрет от 10 октября 1918 года поставил точку в затянувшихся еще с конца XIX в. спорах среди ученых-языковедов и широкой культурной общественности по поводу упрощения русской орфографии. В результате из алфавита были изъяты четыре буквы — «ять», десятиричное «и» («и с точкой»), «фита» и «ижица». Изменения затронули также правила использования в русской письменности букв «ср» и

«ерь». Кроме того, церковнославянские окончания -аго, -яго у прилагательных, причастий и местоимений были заменены на -ого, -его (подробнее об этом см.: *Русская речь*. 1988. № 5).

Еще задолго до принятия Декрета, в разные периоды обсуждения предстоящей реформы, яростными противниками ее введения выступили такие писатели и поэты, как Л. Н. Толстой, В. Брюсов, А. Блок, М. Шагинян, Вяч. Иванов и др. Например, поэт-символист, философ и ученый Вяч. Иванов, защищая сохранение «ятя» в конце слов, писал, что от этой буквы не следует отказываться, поскольку это является «нарушением преемственной традиции» и что каждая буква — носитель «исторического смысла» (Иванов Вяч. Из глубины. М., 1918). Сходных позиций, как предстоит убедиться читателю, держался и Бальмонт. Для него новая орфография находилась прежде всего в тесной связи с новым строем, принять который он пытался, но не смог.

Конечно же, реформа русской орфографии 1917—1918 гг. — акт важнейшего общественного и культурного значения. Был устранен разрыв между звуковым строем русского языка и реализацией его на письме; утратив замысловатость, наша графика приобрела строгость, простоту и целесообразность. В заключение приведем слова М. Цветаевой из ее статьи, помещенной в пражском эмигрантском журнале «Воля России» (1931. № 5—6): «А с новой орфографией советую примириться, ибо: буква для человека, а не человек для буквы. Особенно если этот человек — ребенок».

(В публикации по возможности сохранены особенности пунктуации и орфографии К. Д. Бальмонта)

РУССКИЙ ЯЗЫК

(Воля как основа творчества)

МОЁ — ЕЙ

1

Приветствую тебя, старинный крепкий стих,
Не мною созданный, но мною расцвечённый,
Весь переплавленный огнем души влюбленной,
Обрызганный росой и пеной волн морских.

Ты в россыпи цветов горишь, внезапно тих.
Мгновенно мчишься вдаль метелью разъяренной.
И снова всходишь в высь размерною колонной,
Полдневный обелиск, псалом сердец людских.

Ты полон прихотей лесного аромата,
Весенних щебетов и сговора зарниц.
Мной пересозданный, ты весь из крыльев птиц.

И рифма, завязь грез, в тебе рукой не смята.
От Фета к Пушкину сверхни путем возврата,
И брызги в даль времен дорогой огневиц.¹

2

Я видел много чаровниц,
Со мной гадавших о грядущем.
Я по густым скитался пущам.
Взглянул на много чуждых лиц
В глуши неведомых станиц.

Смотря украдкой из бойниц,
В боях участвовал я разных.
Я медлил в россыпях алмазных.
Я с тем же сердцем падал ниц
В огнях враждующих божниц.

Я слушал шепоты черниц,
Уважил все чужие храмы,
Все голубые фимиамы.
И птицей, выше верениц,
Рассек преграды всех границ.

Но, слыша острый свист синиц,
Всегда лечу душой в родное.
Я вновь не в осени, а в зное.
И внемлю песне молодых
Над мглой серебряных криниц.

3

Как мертвый, восстающий из гробниц,
Познавший власть явиться не скелетом,
А юношей, и в плоть и в кровь одетым,
Мечтающим о пламенах девиц,—

Как клекот потревоженных орлиц,
Пророчеством вскипевший непроцетым,—
Как быстрый конь, бегущий белым светом
За табуном горячих кобылиц,—

Я знаю, что таинственная дверца
Из смерти в жизнь, из тьмы до бытия,
Есть правда растворившегося Я.

Понять, что верно в лике иноверца.
Пронзить свое пылающее сердце.
Вскричать, чужую боль приняв: «Моя!»

4

Игрою тонкого тканья
В чужие я вникаю души.
И боль в душе моей все глуше.
А радость — влажный звон ручья.
Власть претворения — моя.

Ползет ли предо мной змея,
Я пеньем ворожу над нею,
И в колдованьи цепенею.
Свою отраву затая,
Она как тень. Она моя.

Земля вселенская — ничья.
Она — в своей лишь литургии.
Всем сердцем я в моей России.
Металл расплавленный — струя.
Но эта кузница — моя.

В огне, задымленный, куя,
Верховной волей созиданья
Могу перековать страданье
В венец и в пламя лезвия.
Я весь — Ея! Она — моя!

Из всех слов могучего и первородного русского языка, полногласного, кроткого и грозного, бросающего звуки взрывным водопадом, журчащего неуловимым ручейком, исполненного говоров дремучего леса, шуршащего степными ковылями, поющего ветром, что носится и мечется и уманивает сердце далеко за степь, пересветно сияющего серебряными разливами полноводных рек, втекающих в Синею Море,— из всех несосчитанных самоцветов этой неисчерпаемой сокровищницы, языка живого, сотворенного и однако же без усталости творящего, больше всего я люблю слово— Воля. Так было в детстве, так и теперь. Это слово — самое дорогое и всеобъемлющее.

Уже один его внешний лик пленителен. Веющее *в*, долгое, как зов далекого хора, *о*, ласкающее *л*, в мягкости твердое, утверждающее *я*. А смысл этого слова — двойной, как сокровища в старинном ларце, в котором два дна. Воля есть воля-хотение, и воля есть воля-свобода. В таком ларце легко устраняется разделяющая преграда двойного дна, и сокровища соединяются, взаимно обогащаясь переливаниями светов. Один смысл слова воля, в самом простом изначальном словоупотреблении, светит другому смыслу, в меру отягощает содержательностью и значительностью его живую сущность.

Некогда, некто русский, устав от тесноты дома, сказал: «Выйду в поле, и моя воля». А другой русский, усмехнувшись, может быть, доброй, а может, и недоброй усмешкой, примолвил: «В поле две воли». Кто кого. Ты силен, и я не слаб. Есть в груди сердце, а в горле голос, есть желание расправить свои руки, как крылья. Давай-ка поборемся. Кто кого осилит. И та способность человеческой души, которая сказывается в созидании приговоров, пословиц и поговорок, и в позднейшем счете переходит в создание песни и целостной, мирообъемлющей, жизненной мудрости, начинает играть, как ребенок игрушкой, мячом или камнем, как искатель клада играет и работает своим взрывающим и режущим заступом,— творческий язык, любящий многообразие своих достижений, создает крылатые слова. Всякому своя воля. Воля — свой бог. Божьей воли не переволишь. В чем гостю воля, в том ему и честь. Воля губит, неволя изводит. Вольный свет на волю даи. Дай уму волю, а он и две возьмет.

Ум и чувство, ища исхода в слове, всегда желают многогранности. Смотри в зеркало народной речи, легко противопоставлять одну пословицу другой, оспаривать одну поговорку другою. И однако же. Народная речь именно о пословице говорит пословицами. Пословица не даром молвится. Пословица плодуща и живуща. От пословицы не уйдешь. Пословица несудима. Это именно

так, и, когда поэт глубоко чувствует, у него возникает стих, близкий к такому или к сродному словесному лику. Личное воспоминание встает во мне сейчас. Ночью 12-го декабря 1917 года я был в Москве. Шел снег за окном, было вьюжно, я осматривал умственным оком все, что пережила за истекший год Россия, что пережил, в частности, я сам, — и писал поэму «Воздушный Остров». Мне вспоминается одна строфа из нее.

Не сдержать травинке ветра в поле,
Не удержит бурю малый цвет.
Мы в неволе видим сон о воле,
Но на воле в вольном воли нет.

Конечно, когда я писал свою поэму, я был далек от помышления о каких-либо пословицах и поговорках. В эту жуткую зимнюю ночь, в декабрьской Москве, все еще бессильной понять целиком, что октябрь свершился, я, так же, как тысячи, как десятки тысяч людей родственного духовного склада, переживал в душе крестную муку, и она частично вырывалась через эти, повторенные многими, строки: —

Мы в неволе видим сон о воле,
Но на воле в вольном воли нет.

Припоминая это сейчас, я соображаю также, что задолго до этих строк какой-то русский человек, — верно, мужик, ибо мужицкого добра много мы берем, — сказал, явственно увидев свое или чужое своеволие, попавшее в неволю: «Воля наволяется вволю».

Говоря — воля, русская речь вполне отдает себе отчет, что и воля-свобода и воля-хотение суть два талисмана, беспредельно желанные, но неизбежно нуждающиеся в точно определенных пределах, — будь то строгий устав правильно обоснованной жизни или же великий искус и подвиг личного внутреннего самоограничения. И русская няня ласково скажет детям: «Ишь распалились. Вольница. Спать пора». А русский народ, кроме того, звал вольницей всех уходивших к волжскому раздолью от московской тесноты. И зовет вольницей разгулявшихся весельчаков. И зовет вольницей разбойников. А ярославец, сказавши — вольный, разумет — леший. Что же касается этого изумрудного самодура лесов, любящего кружить прямолинейных людей, о нем существует народное слово, являющееся обворожительным и красноречивым противоречием: «Леший нем, но голосист».

Художественное противоречие, восхищающее вкус верный и изысканный, вовсе не есть противоречие, но особенный путь души достигать красоты. Когда ребенок, захваченный глубоким чувством, лепечет своей матери: «Я люблю тебя больше всех на

свете», а отец, услышав его лепет, спросит: «А меня?», ребенок, не колеблясь, ответит: «И тебя больше всех на свете». Эти божески-верные слова покажутся противоречием лишь тому, кто тусклыми своими глазами не умеет читать слова человеческие и божеские. Пока мы говорим и рассуждаем о воле, вокруг этого слова ткется мгла жути. Но марево исчезает сразу, когда смелый скажет: «Волей свершаются подвиги»,— когда мудрец скажет: «Мир как воля»²,— когда няня скажет ребенку: «Солнышко светит. Пойдем-ка на волю!»,— когда ребенок, радуясь весне и пропнякаясь мудростью, наклонной к щедрости, выпустит из клетки на волю своего любимого щегленка, а позднее, сознав эту высокую радость освобождения, роднящую ребенка с Великим Итальянцем³, обнявшим все стихии мира, будет читать с восторгом в детской книжке западающие навсегда в память стихи:

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей:
Я рощам возвратил певичу,
Я возвратил свободу ей.

Она исчезла, утопая
В сияньи голубого дня,
И так запела, улета,
Как бы молилась за меня.

(Туманский) ⁴

Улетела в небо или в лес. Туда, где правит лепший, а лепший нем, но голосист. Немота, которая имеет голос, молчание — говорящее, безмолвие — исполненное красноречия. Русский народ так определил лес, что в этом определении есть и указание на основную тайну мира. Немой мир ищет голоса, и веяньем ветра, плеском волн, перекличкой птиц, жужжаньем жуков, ревом зверя, шорохом листьев, шепотом травинки, разрывающим все небо гимном грома, дает своей внутренней ищущей воле вырваться на волю.

Раскроем забытую книгу забытого великого русского писателя, которого теперь не читает почти никто и слава которого, в созвездиях десятилетия русской жизни, всегда была затенена славами других наших великих писателей. Я говорю о любимце моего детства, вновь ставшем моим любимцем теперь, Сергее Тимофеевиче Аксакове. В книге «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (издание 1886 года, С.—Петербург) он говорит: «Все хорошо в природе, но вода — красота всей природы. Вода жива, она бежит, или волнуется ветром: она движется и дает жизнь и движение всему ее окружающему. Разнообразны

явления вод... Из вершины высокой первозданной горы, сложенной из каменного дикого плитняка, бьет светлая холодная струя, скачет вниз по уступам горы и, смотря по ее крутизне, образует или множество маленьких водопадов, или одно, много два, большие падения воды. Если она сжата камнями, то гнется узкою лентою; если катится с плиты, то падает широким занавесом; если же поверхность горы не камениста и не крута, то вода выроет себе постоянное небольшое русло, — и как все живо, зелено и весело вокруг него! Неизвестно откуда возьмутся несвойственные горам травы, цветы, кусты и деревья, незабудки, дикий нарцисс, кукушкины слезки, тальник и березка. — «Я сказал о воде, что она «краса природы»; почти то же можно сказать о лесе. Полная красота всякой местности состоит именно в соединении воды с лесом. Природа так и поступает: реки, речки, ручьи и озера почти всегда обрастают лесом или кустами. <...> Отраден вид густого леса в знойный полдень, освежителен его чистый воздух, успокоительна его внутренняя тишина и приятен шелест листьев, когда ветер порой пробегает по его вершинам. Его мрак имеет что-то таинственное, неизвестное: голос зверя, птицы и человека изменяются в лесу, звучат другими, странными звуками».

Любовно принимая к многоликой иконе бытия, Аксаков говорит как родной брат индуса, которому любы все живые существа: «На ветвях деревьев, в чаще зеленых листьев и вообще в лесу, живут пестрые, красивые, разноголосые, бесконечно разнообразные породы птиц: токут глухие и простые тетерева, пищат рябчики, хрипят на тягах вальдшнепы, воркуют, каждая по-своему, все породы диких голубей, взвизгивают и чокают дрозды, заунывно, мелодически перекликаются иволги, стонут рябые кукушки, постукивают, долбя деревья, разноперые дятлы, трубят желны, трещат сойки, свистели, лесные жаворонки, дубоноски, и все многочисленное, крылатое, мелкое певчее племя наполняет воздух разными голосами и оживляет тишину лесов; на сучьях и дуплах деревьев птицы вьют свои гнезда и выводят детей; для той же цели поселяются в дуплах куницы и белки, враждебные птицам, и шумные рои диких пчел».

Вот полнота великорусской, чистой, медлительной речи, в меру вводящей и чувство тревоги, где слова коротки и ударенье — на последнем слове словосочетаний, — «шумные рои диких пчел», — и чувство созерцательного спокойствия, где слова размерно вырастают и ударенье в последнем слове — на втором слове от конца, как в стихе, что называется хорей, — «кукушкины слезки, тальник и березка», — и чувство замедленной напевности, как в

стихе, что называется дактиль, с ударением на третьем слоге от конца,— «изменяются в лесу, звучат другими, странными звуками».

Этот дактилизм, перемежаемый хореизмом, или, чтобы избежать иностранных слов, мне ненавистных и мне навязанных, эта трехслоговая замедленность, перемежаемая замедленностью двухслоговой, является ключом свода. Это ключ истинной, исконной, чистой, превосходнейшей русской речи, языка великой России, один из главных талисманов, обуславливающих его певучее чарование. Ключ,— не самый замок, не дверь, не вход; красота терема — внутри терема.

Но я забегая вперед. Слово уводит, и не всегда его нужно слушаться. Я хочу вернуться к моему любимцу. Меня дивит и восхищает великий русский писатель, который через сто лет говорит со мной живым голосом и являет своей речью,— неподдельной, как степь, как сад, как болото, как лес, как река,— что он один из всех любит Природу во всем ее Божеском объеме, и как художник, как охотник, как рыболов, как следопыт, знает все. Слушавший целую жизнь свою голос Матери-Земли знает все. Верное слово расскажет, как красив, любимец русской старины, белый лебедь, начнет ли он купаться, начнет ли потом охорашиваться, распушит ли крыло по воздуху, как будто длинный косой парус. Расскажет, как сторожевой гусь подает тревогу, а если шум умолк, говорит совсем другим голосом, и вся стая засыпает,— как страстно любит жадный селезень, чья голова и шея точно из зеленого бархата с золотым отливом,— как, взлетая, срывается с земли стрепет, встрепенется, взлетит и трепещет в воздухе, как будто на одном месте, а сам быстро летит вперед,— как с вышины, недоступной иногда глазу человеческому, падает крик отлетных журавлей, похожий на отдаленные звуки витых медных труб,— как, влюбленный, кричит, точно бешеный, с неистовством, с надсадой, коростель, быстро перебегая, так что крик его слышен сразу отовсюду,— как плавает, смелыми кругами, в высоте небесной, загадочная птица, копчик,— как токует в краснолесьи глухарь,— как токует, еще Державинным воспетый, тетерев, дальним глухим своим голосом давая чувствовать общую гармонию жизни в целой природе,— как рябчики любят текучую воду, садут на деревьях над лесною речкой, слушают журчанье, грезят и спят,— как приятно воркует лесной голубь, вяхирь,— по зарям и по ветру слышно издали,— а горlinka, похожая на египетского голубя, с которым охотно понимается, воркует не так глухо и густо, а тише и нежнее,— как дрозд, большой рябинник, весело закличет «Чок, чок, чок»,— как звонко поют в зеленых кустах соловьи на берегах Бугуруслана.

От существ, чья сущность крылья и голос, к существам безгласным. Любовная рыба — пляска. Многоликое сонмище золотистых, а чаще серебряных водных существ, научивших первичного человека радости плавать в лодке. От самой маленькой рыбки верховодки, едва в вершок, до не насытимых исполинских двухпудовых щук. Таинственный ход рыбы, станицами, в водополе, против течения, против водопадной быстрины, а когда вода дрогнет, то есть пойдет на убыль, такой же стремительный ход назад. Мир существ, настолько враждебных звуку, что стбит, находясь на берегу, сказать слово, шепнуть, и рыба уходит в глубину. Существа, настолько страдающие от резкого звука, что, когда под прозрачным льдом рыба стоит и спит в холодной воде близко ото льда, рыбак ударяет в этом месте обухом топора об лед, рыба, оглушенная звуком, впадает в обморочное состояние, и, как мертвая, переворачивается вверх животом, лед разрубает и рыбу берут руками. Недаром говорится: «Нем как рыба». Но действительно ли рыба лишена голоса? Разве есть что-нибудь в мире, что не обращалось бы к вниманию с той или иной речью? Рыба немая, и однако сказала влюбленному поэту: «Зови свою милую рыбкой». И разве не рыбий хвост у русалок, а ночью они поют: —

Любо нам порой почною
Дно речное покидать,
Любо вольной головою
Высь речную резрезать.—
Что, сестрицы, в поле чистом
Не догнать ли их скорей?
Плеском, хохотом и свистом
Не пугнуть ли их коней?

(Пушкин)

И в прямом смысле, рыба — немая, да не всякая и не всегда. Морские рыбаки об этом знают, а ученые люди с их слов записывают. «Рыба *Trigla* производит чистые продолжительные звуки в пределах почти целой октавы. Звук, производимый *Sciaenops ocellatus*, напоминает звуки флейты или органа. Гул *Umbrina* в европейских морях слышен, как рассказывают, с глубины двадцати сажен. Ропельские рыбаки уверяют, что одни только самцы издают эти звуки во время переста» (пора любовной рыбьей пляски). (Дарвин, т. 2-й, стр. 240. Спб., 1899).

Звук, рождаемый существом будто бы бесстрастным — в миг страсти. Вечная Песнь нежней, которую поют вся и все. Веером распускаемый, стокий жавалиний хвост; красующиеся движения улиток перед объятием; бесстрашная любовь паука, который за

сладкий миг нередко бывает тотчас же съеден паучиной; воспе-
тая поэтами цикада; поединки цветокрылых бабочек, издающих
резкий краткий скрип вражды; рыцарские пляски длинеоклювых
турухтанов на родном болоте; пение всех певчих птиц, знающих
точно, что пение власть, ворожащая воле, волящей над волей,
вот уже склоняющейся; заморская южная птичка — колокольчик,
звнящая за несколько миль; человекоподобная обезьяна гиббон,
чей голос, похожий на скрипку, владеет полной гаммой; малень-
кая певучая мышь, чьи песни записаны в нотах, знающая раз-
ницу между полутонами и поющая в строго мажорном тоне.
Свершающаяся в тысячелетях, сказка любви, сила страсти,
рвущаяся к выражению, воля к счастью и к жизни, рождающая
вскрик, вспев, песню, слово.

Первое человеческое слово было пропето. Оно родилось из
восторга, из страха, из страсти, из своеволия. Мир есть воля, мир
есть страсть, и мир есть мысль. Так решила, братская нам, древ-
няя Индия. Так оно и есть и пребудет. Из своеволия, страха и
восторга пропелось первое наше слово, наяву приснившееся пер-
вому нашему предку, который достоин называться человеком.

Тот предок был такой же, как гиббон,
Но не гиббон, а брат гиббона сводный,
Средь обезьян властитель благородный,
Взлюбивший в ветках тихий листозвон.

К ветрам любил прислушиваться он,
К журчанью птиц, к игре волны свободной,
Во всем искал он цепи звуков, сходной
С тем, что ему привиделось как сон.

Он первый подвигал голову высоко,
И беспричинно так ее держал.
Вверху был круг, велик, лучист и ал.

Как исполина огненное око.
Он вдруг запел, себя пугаясь сам.
Так звук Земли раскрылся Небесам.

Если, говоря о тайне, исходить из простого размышления и
пытаться построить правдоподобные или очевидные доказательст-
ва, можно сказать следующее. Дитя человека, ребенок, хранит в
своем теле и в проявлениях своей телесно-духовной жизни мно-
жество указаний на потерявшегося в незапамятном прошлом че-
ловека, который не был похож на теперешнего. Близок ли был
тот незапамятно-далекий наш предок более всего к зверю, птице,
рыбе, змее, червю, к демону или к ангелу, об этом говорить,
в порядке правдоподобных или очевидных доказательств, пожа-
луй не стоит. Но что ребенок весьма многим напоминает и ука-

зует наше дальнейшее дикое прошлое, это слишком очевидно. Какой же издает он первый звук, рождаясь? Вопль, вскрик. Первый звук нашего многозвучия есть крик. К какому же строю звучания ближе этот крик? К говоримому слову или к сорвавшемуся с правильной своей основы пению? Конечно, крик ближе к пению, нежели к говоримому слову. А когда, по истечении нескольких месяцев, ребенок начинает произносить отдельные слоги, еще не соединяя их ни в слова, ни в связь слов, и еще не связуя их с определенными представлениями, когда он впервые произносит эти, радующие мать и няню, *ма, на, да*, разве он их говорит? Он их поет, он произносит их всегда напевно.

Притом. Все звуки Природы, гул Океана, равномерный плеск Моря, ветер и голос грозы, малейшее журчание тончайшего, как ниточка, ручейка, шелесты и шорохи деревьев и трав, рев и вой и ворчанье зверя, перекличка птиц, жужжание мух, и жуков, и пчел, все звуки Природы к какому разряду звучаний относятся? К слову они близки, говоримому, или к музыке, поющей и звучащей? Безусловно к музыке, безусловно к пению, смешанному с музыкой или поющему одиноко, без сопутствия музыкального инструмента. Я уже не говорю о том безмолвном красноречии, которое с убедительностью захватывающей и ворожащей исходит из зеленого величия молчащего в полдень леса, из диких гранитных громад, венчанных снегами, резных гор, из голубого свода дневного неба, из торжественного передвижения светил по небу ночному. Это красноречие — не из разряда речи словесной, оно из музыки, слышимой душе. Если же все природные голоса ткут основу музыки и пения, какой же был голос того первичного природного человека, который, превозмогши в себе, под напором чувства, говорящую немоту звериного, коснулся, переплестнувшей через роковую черту душой, божеского в человеческом? В первый раз заговоря, он запел.

И наконец. Я полагаю, что все произошло из жажды музыки. Разве наша Земля, столь изумительная, несмотря на наше человеческое, не есть псалом к Вечности, стих, процетый в воздухе Огнем и Водой?

В великий мировой час, коего минуты измеряются тысячелетиями, в разных местах свежее-красивой, желанной Земли, возник один человеческий язык, и другой, непохожий, и третий, и много. Из всех человеческих языков, сколько их ни есть на Земле, каждый, являясь внутренним сложным зодчеством человеческой души, обуянной вдохновением, являет свою красоту, видимую целиком лишь избранным из тех, кто родился в окружении этого языка, в его воздухе, под единственным солнцем, ему светив-

шим в его зарождении. Страна не поймет страну, ни язык не поймет язык, а все они красивы, и, быть может, это очень хорошо, что черная пантера и серый жаворонок не понимают друг друга и нисколько друг о друге не думают. Но возлюбивший ли иероглифы, солнцепроизведенный язык зверовоклонного Египта,— зачаровавшийся ли в клинопись, колдовской язык звездочетного Вавилона,— или гортанный язык древних евреев, такой страстный, что он не называет предметы, а словесно хватает их,— или полетный арабский язык, полный ястребиного клекота и тонкого перестука копыт легконогого коня,— или нежнейший язык самозамкнутого Китая, похожий на малые позванивания серебряного колокольчика,— или братский нам, полнозвучный язык древней Индии, до сегодня плененной богами и сказками,— все языки, являясь откровеньем Божества, пожелавшего заглянуть в человеческое, прекрасны, первоисточны, самоценны, единственны, а в здешней, изношенной, бледно-солнечной части земли, что зовется Европой, и давно забыла, как журчат подземные ключи, самый богатый и самый могучий, и самый полногласный, конечно же, русский язык.

Метальный, звонкий, самогудный,
Разгудный, меткий наш язык.

(Языков)

Я знаю, что сожженный в старой Москве, выходец из Германии, Квирин Кульман, мечтатель, потерявший рассудок над богомудрствованиями Бёмэ⁵, думал так же высоко о языке немецком, как и о русском. Немцу так и полагается. С простосердечием трогательным он говорит: «Мы убедились, что на основании глубокомысленных соображений ученейшие люди передавали высшие создания мысли на родном языке: греки писали по-гречески, римляне по-латыни, евреи по-еврейски, а мавры по-арабски, потому что они, по природе, лучше понимали свой язык, нежели чужой». Но, прибавляет он, «немецкий язык в самом деле язык божественный, слова его удивительны, величие невыразимо, разнообразные изменения слов бесконечны. Сравнивать его с другими иностранными языками кажется неразумным: он согласен только с самим собою» (Н. С. Тихонравов, т. 2-й. Москва. 1898). Сравнивать, быть может, ничто ни с чем не нужно, но можно сопоставлять. Меня по-своему трогает этот простодушный бред сожженного ни за что мечтателя. Мне ближе слова отлично-го французского рассказчика и одного из первых знакомителей

Франции с Россией, Проспера Мериме: «Русский язык, который, насколько я могу о нем судить, есть самый богатый из языков Европы, создан по-видимому для выражения оттенков наитончайших. Одаренный удивительной сжатостью, которая соединяется с ясностью, он такой, что ему довольно одного слова, чтобы сочетать несколько мыслей, которые, на другом языке, требовали бы целых фраз. Французский язык, усиленный греческим и латинским, призвав к себе на помощь все свои областные наречия Севера и Юга, язык Раблэ, наконец, только он один может дать представление об этой гибкости и этой силе выразительности. Легко понять, что инструмент столь чудесный оказывает значительное влияние на талант писателя, который чувствует себя способным владеть им искусно. Он необходимо услаждается живописностью своих выражений» (Prosper Mérimée. Nouvelles. Paris. 1866. P. 315).

Мне еще ближе, полные старинной живописности и серьезной важности, слова нашего гениального холмогорского мужика, обнявшего, как Гете, множество горизонтов. Во введении к «Первой Российской Грамматике», Ломоносов говорит: «...Карл, Римский император, говаривал, что испанским языком с Богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с женским полом говорить прилично.— Но, если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что *и м* — со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, силу немецкого, нежность итальянского и сжатую изобразительность греческого и латинского».

Пожалуй, не читал ли Мериме первую Российскую грамматику Ломоносова?

Прикасаясь к русскому языку, в малом его огляде, как глядишь в хрустальную горку, где собраны с детства любимые талисманы и памятки,— как смотришь в глубокий родник, который журчит, и его слышишь, а откуда он течет, не знаешь,— я хочу сказать лишь немного и не как ученый исследователь. Я не анатом русского языка, я только любовник русской речи. У поэта слишком часто слишком простой путь к вещам мира сего. Но что ж? Я скажу как мои Белые Братья из «Зеленого Вертограда»:

Мы пожалуй и простые,
Если истина проста,
Если волны золотые
Есть простая красота.

Мы пожалуй неучены,
Да на что ж ученость нам,

Если сердце слышит звоны,
Что проходят по цветам.

Богочитание. Благословение. Славословие мирозданию. Завладение. Внуки Велесовы. Илья Муромец. Микула Селянинович. Соловей Будимирович. Троица Единосущная. Русь царство христианское. Навождение окаинное. Междуусобица. Покаяние. Откровение. Подвиги бранные. Искус мучительный. Отречение. Звоны колокольные. Родимый мой батюшка. Родимая матушка.

Какие они длинные, тягучие, ворожащие, внушающе-певучие, исконные русские слова. Это подлинные русские слова, и в наших двух тысячелетиях, из которых мы помним одно, эти слова жили, перебрасывались, тихонько подходили, колдовали, брали, ворожили, внушали Книгу Голубиную⁶, подползали змеей подколодную, ширяли в поднебесьи быстрым соколом.

Восходила туча сильна грозная,
Выпадала книга Голубиная,
И не малая, не великая,
Долины книга сороку сажень,
Поперечены двадцати сажень,
По той книге по божественной
Соходились, соезжались...

(Стих о Голубиной книге)

Возьмем ли мы духовный стих, или былину про богатырей, или народную песню недавнего времени, или Слово о Полку Игореве, или пословицы, поговорки, загадки, или отдельные места летописи, те, где сквозь дымную церковнославянскую слюду просвечивает напевное естество чистого русского языка, или тех создателей и укрепителей русской прозы, язык которых наиболее исконный и первородный, в вольности уставный, великорусский, основной,— Карамзин, Пушкин, Аксаков, Печерский,— или тех поэтов, чей поэтический язык наиболее перед другими близится к народному говору, к народному словесному пути и напевной повадке,— мы везде увидим то, что я называю пристрастием русского языка к дактилизму, перемежаемому хореизмом, или, более по-русски, трехслоговою замедленностью, перемежаемой замедленностью двухслоговой. Я говорю, что напевность великорусской речи, основанная на музыкальной любви русского народа к трехслоговой замедленности, поражает меня в простой ежедневной народной речи, и в наилучших образцах нашей литературной прозы,— литературный же стих, наилучший наш стих, как мы, люди образованные, понимаем это слово, по большей части избегает ее. Литературный стих, пушкинский, ямбичен, он коротко

ударен, а не напевен, он основан на двухслоговой ударности. Былинный же стих и стих народной песни, для литературного слуха, звучит так, что часто представляется лишь певучей прозой.

Это любопытно рассмотреть в подробности и прежде всего точно понять условные определительные выражения, которые я хотел бы установить.

Взглянем на основные наши стихотворные размеры,— я говорю о стихе нашей словесности письменной, не о стихе, который пелся и поется, не ища записи.

Короткий слог и долгий. Ямб.

Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.

(Пушкин)

Стих выразительный, живописный, я сказал бы сабельный, ударный. Весь явный и заверченный, совсем не таинственный.

Долгий слог и короткий. Хорей.

Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня,—
Что тревожишь ты меня?

(Пушкин)

Стих гораздо более выразительный и включающий в себя таинственность. В нем есть пляска, в зависимости от чтения торжественная или буйная. Слог с ударением, за которым следует слог без ударения, отвечает великорусской наклонности к полногласию. Конец стиха не сжат.

Короткий, долгий и короткий. Амфибрахий.

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах...

(Лермонтов)

Плещительный размер, в нем есть качанье старинного вальса и морской волны. Ударный слог, предводимый и сопровождаемый неударными, движется так мягко, что очаровывает плавностью.

Короткий, короткий и долгий. Анапест.

И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты тяжелый свой путь.

(Некрасов)

Размер полный угрюмой выразительности, тяжелого и рассчитанного удара. Стих как рука с мечом, которая медленно припод-

нимается, замахивается и сражает. Обратный лик дактиля, обратный ток чувства.

Долгий, короткий и короткий. Дактиль.

Ночка сегодня морозная, ясная.
В горе стоит над рекой
Русская девица, девица красная,
Щупает прорубь ногой.

(Некрасов)

Трехслоговая замедленность. Размер самый таинственный. Стих глянет на тебя, и кажется, что он посмотрел на душу полным взором, и в полвзора, и в четверть взора. Песня спелась, еще не хочет конца, и еще поется, и все не хочет конца, и допевается. Русский дух, полюбивший в веках широкое пространство, своей географией так спутавший свою историю, любящий найденную новую целину, и вот уже тянущийся к новой, что подалее, и еще к новой, должен был полюбить в своей речи дактилическую напевность, трехсловую замедленность.

Несколько примеров из первоисточников нашего общего самоцветного богатства устранят призрак голословности. Вольгá, он же Олег, он же ⁷ вещий оборотень, Волх Всеславич, умевший для завладения миром принимать лик и льва, и орла, и могучей щуки, пропет былиной.

Закатилось красное солнышко
За горюшки высокие, за моря широкия,
Рассажились звезды частыя по светлу небу.

Это — когда рождался Вольгá. А когда он выбирает себе дружину, былина поет: —

Тридцать молодцов без единого,
Сам Вольгá был во тридцатых.
«Дружина, скаже, моя добрая, хоробрая.
Слушайте большого братца, атамана-то...»

Тридцатых и атамана-то здесь более, чем выразительны. Песня, для достижения трехсловой замедленности, изменяет обычное словопроизношение.

Возьмем книгу народных песен (П. В. Шейн. Великорусс в своих песнях... Спб. 1888). Мы тотчас увидим, что в родной моей Владимирской губернии поют, или пели, «Как под белую под березою, — Бел горюч камень разгорается», — в Тверской и оттуда по всей России — «Спится мне, младешенькой, дремлется», — в Смоленской — «Ах да у соловушки крылья примахалися, — Примаха-

лися,— Ах да сизы перушки, ах, да поломались,— Поломались,— в Курской — «Чарочки по столу похаживают»,— в Рязанской — «Я поеду в Москву город на ярманку»,— в Московской — тут пожалуй я не найду ничего, но уже из Вятской области допосится — «В хороводе были мы,— Были мы — Сокола мы видели,— Видели»,— а из Тульской — «Чики, чики, чикалочки,— Едет мужик на палочке»,— и снова из моей родной Шуи — «Первенчики, друженчики,— Летали голубенчики,— По солоду, по молоту».

Сидит в келье монах, и зовут его старым именем Нестор⁸, медленно он выводит буквы, записывая повесть Руси рукою, привыкшей истою креститься, и не столько он являет светлое зеркало минувшего, сколько тклет паутины и затенения, но сквозь синюю мглу ладанного воздуха, через поблескиванья церковной позолоты, через слюдяное оконце засматривая, вижу я и слышу, что и здесь ворожит понравившаяся мне с детства трехслоговая замедленность родной моей речи, сменяемая замедленностью двухслоговой: «Изъгнаша Варяги за море, и не даша имъ дани, и почаша сами въ собѣ володѣти, и не бѣ въ нихъ правды, и вѣста родъ на родъ, и быша въ нихъ усобицѣ, и воевати почаша сами на ся... И мужи его (Олга) по Русскому закону кляшася оружіемъ своимъ, и Перуномъ, богомъ своимъ, и Волосомъ, скотѣмъ богомъ, и утвердиша миръ... и повѣси щитъ свой въ вратехъ показуа побѣду, поиде отъ Царяграда».

Из другого монастыря, Бог весть зачем туда понавшая, не в монастыре пропетая, из рук монастырского отшельника в руки царского сановника переданная, запись-песня, сгоревшая в великом пожаре Москвы⁹ и все же сохранившаяся, песня, повитая под трубами, концом копия вскормленная, под шоломом взлелеянная, полная ржанья коней, орлиного клекота, ворчания волков и лисид, оскалившихся на черные щиты, вся сияя кровавыми зорями и синими молниями, вся оваянная бранным серебром и белыми хоругвями, шумит и звенит издалече эта песня перед зорями, Слово о Полку Игореве, наша песня, наших дней, и Гзак бежит серым волком, а Кончак ему след правит к Дону великому. О, Русская земля, ты уже за холмами, за холмом, за шеломенем. И плачет Ярославна: «О, вѣтре, вѣтрило! чему, господине, насильно вѣши?»

Не такой же ли голос, любовно наши русские слова, как няня дитя, качающий, истою их произносящий, размерно, хотя и не в стих, голос жертвенно сожженного, говорит в житии, им самим написанном? Из тюрьмы к тюрьме, от пытки к пытке, из Сибири в Сибирь же, и вновь из Сибири, совершая свой путь,

Протопоп Аввакум повествует: «Страна варварская, иноземцы не мирные...¹⁰ Курочка у нас черненька была: по два яичка на день приносила робяти на пищу Божиим повелением, нужде нашей помогая: Бог так строил. На нарте везучи, в то время удавили по грехом. И нынча жаль мне курочки той, как на разум придет. Ни курочка, ни то чудо было: во весь год по два яичка давала, сто рублей при ней плюново дело. Жалею. И та курочка, одушевленное Божие творение, нас кормила, а сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или и рыбки прилучится, и рыбку клевала, и нам против того два яичка на день давала. Слава Богу, вся сотворившему благая. И не просто она нам и досталася».

Напевность прозаической русской речи, выражающаяся в том, что русский бессознательно выбирает, подчиняясь внутреннему своему чувству, логически ударяемое, подчеркиваемое слово с ударением на третьем слоге от конца и таковое же слово, то есть, звуковым ликом сродное, ставит как завершительное в словосочетании, кончает им фразу,— эта особенность нашего благозвучия сказывается не у всех наилучших наших повествователей. И конечно она достигает напряженности не всегда, а вызывается определенным душевным состоянием. Я думаю, что такое состояние можно определить как мерную лиричность взнесенного чувства и умудренного сознания. Это пристрастие к трехслоговой замедленности, повторяю, ярче всего сказывается у Карамзина, Аксакова и Мельникова-Печерского. «История Государства Российского». Уже самое заглавие великого создания великого создателя нашей прозы отмечено печатью дактилизма. Первая фраза предисловия не оставляет сомнения в том, любит ли он трехслоговую замедленность: «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего». А если мы будем рассматривать каждый законченный отрывок страницы,— то, что мы называем варварским словом абзац,— и назовем последнее слово каждого отрывка концовкой, мы заметим упорное пристрастие к концовке дактилической и хорейской,— ямбическая концовка стоит обыкновенно лишь там, где этого безусловно требует смысл изложения. Вот концовки предисловия «Истории Государства Российского»: будущего, счастье, общества, чувствительность, нами, лучшего, внимание, прелестные, удовольствием, Летописи, образом, души, непроницаемость, место, яснее, урочищем, судей, человеческой. То есть из восемнадцати слов, одно лишь слово с ударением на последнем слоге, и то

лишь по причине следующей. Вся фраза гласит: «Где нет любви, нет и души». Из пословицы слова не выкинешь.

Если мы возьмем знаменитый роман Печерского «В лесах», с его исконным, подлинным, смолистым, многозернистым языком, эту картину самоочерченного, самоцельного, изнутри светящегося, русского быта, мы увидим родственное тому, что мы видим в языке Карамзина, что мы видим в наипревосходнейшем русском, в языке Аксакова, и сразу, с чувством утешения, читаем: «Судя по людскому наречному говору — новгородцы в давние рюриковы времена там поселились. Преданья о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и «тропу Батыеву» — и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре. Цел тот город до сих пор — с белокаменными стенами, златоверхими церквями, с честными монастырями, с княженецкими узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами, с рубленными из кондóвого, негниющего леса домами. Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа».

После благозвучных слов и словосочетаний, только что прозвучавших, после благочестных имен создателей единственного по звучности языка Великой России, любезного своей нежной и мощной гармонией даже тем чужестранцам, которые, не зная его, но с детства привыкши к своему красивому и звучному языку, естественно восприимчивы к музыкальному благозвучию языка чужого, — французы, испанцы, итальянцы инстинктивно благосклонны к русскому языку и часто, вовсе его не понимая, пленяются им, — жутко прикоснуться слухом и глазом к сумасшествию состоявию родного языка и к умалишенному его начертанию.

Откуда вот это? «...чтобы ощутить индивидуальное и творческое в словоупотреблении поэта, надо владеть общими с ним лексемами литературной речи. Лексема по аналогии с фонемой и морфемой — это семантическая единица говора, как осознаваемая (хотя бы потенциально) совокупность значений и их оттенков, связанных с известным сигналом (словом)... — Такой метод стилистики я называю ретроспективно-проекционным... принцип морфологической схематизации, лежащий в основе ретроспективно-проекционного метода исторической стилистики, должен корректироваться, с одной стороны, ясным разумением исторической перспективы; с другой, предварительным функционально-имманентным изучением языковой деятельности исследуемых писателей...». Пресвятой Николай Угодник, помоги мне! Вывези меня на купринских пегих лошадях из царства нежитей и адского окружения! Этот сатанинский набор слов, притягивающий быть научным и в самоослепении полагающий являть из себя

словосочетание языка русского, оттуда же, где Россия превратилась в РСФСР, а потом обернулась в СССР, где, протестующе манифестируя триумф коммунистической идеи и манифестацией пропагандно гипнотизируя весь комплекс цивилизации, солидаризируются ВЦИК, ЧК, Сорабис, Рабфаки, Центротук и Комсомол. Да, приведенный мною отрывок о методе стилистики взят мною из очерка профессора Виноградова «Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума»¹¹, помещенного в сборнике «Русская Речь», изданном в нынешнем году в Петербурге, под редакцией профессора Л. В. Щербы. Я не знаю, хороши или плохи очерки этих профессоров. Знакомый словесник, зная, что я размышляю о русском языке и что я очень люблю Протопопа Аввакума, дал мне эту книгу. Я хотел бы ее прочесть, и готов гневаться на себя, что прочесть ее не могу. Но увы, это не рисовка, это так, это безусловная невозможность. Я читаю, либо с полной свободой, либо с достаточной легкостью, прозу и стихи на десяти иностранных языках, но я не умею читать русские книги, написанные на иностранном наречии, самое имя коего мне неизвестно и которое мне отвратительно своей незаконной безымянностью.

Убогий набор будто научных слов, мною приведенный и ставший непреодолимой для меня преградой между мною, русским поэтом, и между Виноградовым, современным русским ученым-словесником, есть к сожалению достаточно общепринятый язык, обычный в книгах русских ученых. Но это не русский язык, это — воровской шурум-бурум старьевщиков, у которых в обширной торбе много настоящего добра, но, говоря лишь о слове, лишь о святине языка, всего больше — старых поношенных негодных тряпок, затасканных кафтанов с чужого плеча. Хранители сокровища портят сокровища. Пастухи, призванные пасти неоцененное стадо, добротности единственной и численности несосчитанной, суть не пастыри, а волки в овечьей шкуре. Но разве можно обворовывать и забрасывать грязью и сором и шелухой и неуклюжими обломками чужого мертвого дерева нашу честь, наше достоинство, нашу жизнь, нашу душу, залог самого бытия нашего на земле, русский язык?

Пусть об этом скажет несколько слов тот, кто был жизненно-творческим солнцем нашей поэзии, кто был научен Ломоносовым, Державным, Дмитриевым, Жуковским, Батюшковым, Карамзиным, и больше их всех своей няней Ариной Родионовной, раскрывшей ему сказочный мир, словесную казну русского народа, и еще больше своим несравненным гением, своей горячей африканской и русской кровью. Обсуждая предисловие Лемонте к французскому переводу басен Крылова, Пушкин говорит: «Как

материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими... Сам по себе уже звучный и выразительный... Простонародное наречье необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей... Предки наши, в течение двух веков, стоная под татарским игом, на языке родном молились русскому Богу...». И, говоря, что русская поэзия достигла уже высокой степени, Пушкин прибавляет укоризну, которая была горьким пророчеством и осталась им: «Умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но ученость, политика и философия еще по-русски не объяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует... лень наша охотно выражается на языке чужом, которого механические формы давно готовы и всем известны».

Безумно злое дело — и дело непостижимо-неумное — повседневно вводить в русский язык целое сонмище иностранных слов, которые легко могут быть заменены исконно русскими, уже существующими и полноценными, или источно русскими, которые дремлют в основе русского языка несосчитанными рядами, и могут быть разбужены каждую минуту творческою волей, — корневые слова, родниковые, прячущиеся в земле, в темной неизвестности, но предрешенно уже существующие, как желудь, только что подобранный мною в лесу и лежащий на моем письменном столе, малая памятка для умственной забавки, есть не только желудь, но и целый дуб, лишь брось я его в час надлежащий в рыхлую землю, — и все вырезы листьев этого дуба, весь лик его ствола и могучие крижистые разветвления его рук, жаждущих воздушной всеохватной оцупи, уже существуют в этом желуде.

Безумно злое дело, и дело необъяснимо-неумное, совершила Русская Академия, измыслив нескладное, безобразное, так называемое новое, правописание, и услужливо дав этого уродливого педовоска пестовать и холить той недоброй мамке, которая не есть няня, а только всего Баба Яга <...>. Новое правописание, разрушая мудрое, продуманное, веками зодчески рассчитанное и строго расчисленное, построение старого правописания, само по себе является источником порчи русского слова, и говоримого, и записываемого, а в руках супостатов всего подлинно русского, задавшихся целью разрушать, а если можно и вовсе истребить Россию как Россию, это расхлябанное правописание есть конечно орудие распространения невежества и одно из средств разложения.

Есть ученые друзья нового правописания, есть ученые враги. Не мне взвешивать доводы тех и других, я говорю лишь как поэт. А также и от самого простого человеческого чувства, которое, помня, что все богатство русской словесности,— и державинская ода «Бог», переведенная давно на восточные языки, и первоутренние стихи Батюшкова, и «Семейная хроника» Аксакова, и жуткие прорицания Гоголя, и «Три ключа» Пушкина, и «Ангел» Лермонтова, и воздушные, как осенние паутины и как крылья бабочек, строки Фета, и железный гуд ночных колоколов Тютчева, и серебряная музыка Тургенева, и создания Достоевского и Толстого, которые своею властной рукой так постучали в тяжелую дверь запредельного, что весь Земной Шар услышал этот звук,— помня, что все это наше родовое добро создавалось и существовало в таком-то определенном внешнем лице, в лице внутреннем,— лишь в этом лице, с детства полюбленном, может чувство принять и любить это свое добро.

Мне радостно однако вспомнить сейчас, из простого курса лекций по истории русского языка, слова А. И. Соболевского о доисторическом бытии звука *ѣ*, как краткого закрытого *о*, близкого к *у*, о бытии звука *ѣ*, как краткого закрытого *е*, близкого к *и*, об историческом разнозвучии звуков *ѣ* и *е*, настолько явном, что «в нотных кондакарях, где буквы в словах повторяются согласно тому, как они должны были повторяться или протягиваться в пении, мы находим такие написания, как грѣеиховъ».— Лекции. Киев. 1888, стр. 40. Мне радостно также сообщить чрезвычайной ценности наблюдение, о котором сказал мне один ученый языковед, перед глазами коего прошло достаточно живых примеров. Языковед сообщает, что иностранцы, изучающие русский язык, под его наблюдением, изучают его медленно, если изучение опирается на новое правописание, изучение идет гораздо успешнее, при пользовании правописанием старым, и в этом последнем случае чужеземцы быстро разбираются в самом родословном древе русского языка, а не только преуспевают в попугайном его запоминании. Полагаю, что естественно будет убежденным врагом новой безграмотной грамоты всякий, кто любит слова как живые существа.

Для меня русская грамота, как я ее узнал, икона. Какой же верующий будет изменять свою икону или подрисовывать ее? Для ревнителей старины нашего Северного края, старообрядцев, или что то же раскольников,— хотя они вовсе не раскольники,— такие обряды, как двуперстное крестное знамение, сугубая аллилуйя и ходы посоловь, суть догматы и не подлежат обсуждению. Икона русской грамоты для меня не подлежит обсуждению. Но-

вой же, в 1919-м году, в Москве, я посвятил, в одно майское утро, следующий сонет.

Гонимым

Защита слова Ъ, о, твердый знак,
Без Ъ все слово — пьяный обнаженный.
Разумный страж, веками подкрепленный,
Дом без замка не может быть никак.

Без Ъ все слово — срезанное «Квак!»,
Бесхвостый конь, и пес, хвоста лишенный.
Без Ъ лишь (.....) умалишенный
Все буквы грудит в общий кавардак.

Изменчивого Е расцвет и скрепа,
Лицо в лицо, глядит на честных Ъ.
Того лишь варвар не сумел понять.

Взамен О два круга Ф нелепо.
І с точкой, тонкий жезлик, наконец,
Двойною палкой пишет лишь слепец.

Говоря о русском языке, его разуме, выражающемся в мудро-красивом строительстве, я невольно коснулся и его безумных состояний, выражающихся в распаде. Очистимся от скверны, и припомним благоговейную молитву, которую перед смертью, на чужбине, истосковавшись в безлюбьи, написал Тургенев.

Русский язык

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. — Не будь тебя — как не впасть в отчаяние, при виде всего, что совершается дома? — Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.

Говоря о русском языке, я еще не ответил на два вопроса, которые сам себе поставил, в своем рассуждении: Кто из русских писателей самый русский, и как возникает стих?

О, я задал себе опасный вопрос. Кто из русских писателей самый русский? Мне очевидно, как отвечает любовь в этом случае. Я указываю опять на ребенка, который говорит матери: «Я люблю тебя больше всех на свете», и тотчас же говорит то же самое отцу. Я вспоминаю также, что в «Записках об ужении рыбы» Аксаков говорит в 1-й главе: «Лошók — самая маленькая

рыбка», а 2-ю главу, о верходке, или что то же — верховодке, он начинает словами: «Это также самая маленькая рыба». Чтобы ответить на вопрос, кто самый русский из наших писателей, надо, прежде выяснить, что собственно есть русский человек, русская душа. А русская душа и для русского — загадка. Можно однако безоговорочно сказать, что неправы те, кто стал бы утверждать, что самый русский поэт — Ломоносов или Кольцов, ибо они вышли из народа. Не менее неправы те многочисленные русские и иностранцы, которые полагают, одни, что самый русский — Достоевский, другие, что самый русский — Лев Толстой. Мне жутко говорить, я преклоненно чту и люблю наших двух исполинов, и Достоевский особенно глубинно искутился в русской душе, но — как же Достоевский, когда, умнейший человек, он в творчестве — воплощенное безумие и срыв, а истинный, исконный русский человек, всегда, истокон веков, побезумствует-побезумствует, да и войдет в свой устав и не строится с него, будет тих и мудр и кроток, как пасечник на пчельнике, жмурающийся на солнышко и слушающий, как жужжат пчелы, приготавливающие сладкий мед и богомольный воск. Быть может, Достоевский не успел себя довершить. Что же говорить о том, кто что не успел. Это вода темная. Русской душе хочется воды светлой. И как же Лев Толстой, если он не любил и не понимал стихов, а русская душа только и делает в веках, что поет песню, поет духовный стих, поет и частушку, и каждое свое историческое переживание превращает в поэму, — и как же Толстой, когда русский человек решителен и полон самозабвенной любви, а он всю жизнь колебался и, зная, как прекрасна любовь души, всю жизнь искал кого бы, что бы полюбить, но горько чувствовал, что душа его холодна. Толстой и Достоевский все время ходят по краю бездны или в самой бездне, но полномерно успокоенное чувство хочет другого и знает лучшее.

Воплотители величайшей гармонии русского духа, его солнечной основы, его зеркальной ясности, его слияния с Природой, чей волевой мирозданный станок размерно творит в веках, поставляя жужжание мошки в тот же ряд, где и дикие пропасти человеческой души, создатели самой чистой, первородной русской речи — самый русский поэт, Пушкин, самый русский прозаик, Аксаков.

А как возникает стих, как куется этот золотой обруч, связующий обручением и святым венчаньем волеенье души с таинством мира и других душ, об этом сказал, почти на все вопросы отвечающий, Пушкин. В указанном уже очерке он говорит: «Поэзия бывает исключительно страстью немногих, родившихся поэ-

тами: она обьѣмлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни».

К этим алмазным, исчерпывающим словам что же можно прибавить? Разве стих, ибо слово должно начинаться и кончаться стихом, — стих, говорящий, что нет местничества среди тех, кто, каждый по-своему, тклет покров Мировой Красоты.

Птицы

Знающий счастье и боль,
Смолу превращая в янтарь,
Каждый поэт есть король,
Каждый мыслитель — царь.

В пеньи мы равны все,
Нет преимуществ меж птиц.
Чу! коростель в овсе,
Жаворонок, радость денниц.

Поет соловей, поет,
Так, что он всеми воспет.
Но им не окончился счет,
И много в мире примет.

Разве без ласточки мы
Можем любить весну?
Разве в безгласьи зимы
Не будит снегирь тишину?

И в час, как весь мир потух,
И новая стала пора,
Был нужен Христу петух,
Чтоб церковь построить Петра.

Ты думал, быть может, что он
Простой деревенский певец?
Так нет, без него бы наш сон
Был мертвым спом для сердец.

И от моря до моря крыло
Протянет под утро Стратим.
Но скворец так лепечет светло,
И лебедь так бел перед ним.

Птицы мы Божьи все,
У каждой сердце — свирель.
Чу! коростель в овсе,
Он нравится мне, коростель.

Примечания

1. «Приеетствуя тебя, старинный крепкий стих...» — это и три других стихотворения К. Бальмонта, открывающие статью, вошли в состав его книги «Моё — ей. Стихи о России» (Прага, 1924).

2. ...когда мудрец скажет: «Мир как воля» — имеется в виду немецкий философ Артур Шопенгауэр (1788–1860) и его главный труд — «Мир как воля и представление» (1819).

3. Великий Итальянец — Леонардо да Винчи (1452–1519), живописец, скульптор, архитектор, ученый и инженер эпохи Возрождения; известны также его работы в области языка и литературы.

4. «Вчера я растворил темницу...» — стихотворение Ф. А. Туманского (1799–1853) «Птичка». Читателям прошлого века, особенно юным, поэт был известен именно благодаря этому произведению; его перепечатывали все популярные хрестоматии. Служивший на дипломатическом поприще Ф. А. Туманский писал неохотно, и в печати являлся крайне редко.

5. ...мечтатель, потерявший рассудок над богомудрствованиями Беа — Квирин Кульман (1651–1689), немецкий философ религиозно-мистического направления. Исповедовал учение своего соотечественника Якоба Бёме (1575–1624), философа-пантеиста, пытавшегося примирить дух и материю. Его основной труд «Аврора, или утренняя заря в восхождении...» (1612) был осужден как еретический. В свою очередь Кульман, уверившись в своем богоизбранничестве, разъезжал по странам Европы с проповедью близкого падения «Вавилона», добрался до Константинополя, где пытался обратить турок в христианство. Прослышав о «северном народе», он в 1689 году прибыл в Москву, куда еще раньше поспело его «послание» к московским царям, в котором был усмотрен политический замысел. Не получив поддержки у местных лютеранских иерархов, Кульман подвергся жестоким пыткам в Посольском приказе и затем был заживо сожжен как «злонамеренный еретик».

6. Книга Голубиная — духовные стихи о Голубиной (то есть мудрой — «глубинной») книге сложились на основе апокрифических сказаний, в частности «Беседы трех святителей» и др. Текст Голубиной книги, известный более чем в 20 вариантах, в свое время пользовался популярностью, поскольку содержал сведения о происхождении всего сущего: о земле, о небе и солнце, о человеке и животных... В большинстве вариантов стихи начинаются с эпического рассказа о том, как в городе Иерусалиме, при царе Давиде, с небес «выпадает» книга громадных размеров, к ней устремляется народ и узнает, «от чего зачались цари с царицами, князья с боярами, крестьяне и т. д.» (см. Сборник Кириши Данилова. М., 1977. С. 457); Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. 2-е изд. М., 1986. Т. I. С. 432).

При работе над статьей Бальмонт пользовался книгой П. А. Бессонова, однако при цитировании допустил неточность в шестой стихотворной строке, тем самым исказив смысл текста. Почти во всех имеющихся в нашем распоряжении вариантах эта строка звучит так: «Ко той книге ко божественной...» (Бессо-

нов П. А. Калики переходные. Сборник стихов и исследование. М., 1861. Ч. 1. Вып. 2. С. 299, 306).

7. *Вольга, он же Олег, он же...* — герой древнерусской быliny. В статье приводится отрывок одного из многочисленных ее вариантов, представленных в «Песнях, собранных П. Н. Рыбниковым» (М., 1909. Т. 1. С. 258–259).

8. *Нестор* (конец XI — начало XII в.) — русский летописец. Цитируется «Повесть временных лет» (ок. 1113), первый русский летописный свод, одним из составителей которого являлся Нестор.

9. *...запись-песня, сгоревшая в великом пожаре Москвы* — речь идет о единственном списке «Слова о полку Игореве» из собрания А. И. Мусина-Пушкина, утраченном в 1812 году.

10. *«Страна варварская, иноземцы не мирные...»* — отрывок из замечательного памятника XVII века «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Аввакум Петров (1620 или 1621–1682) — видный идеолог религиозно-общественного движения в Руси.

11. *...отрывок о методе стилистики... из очерка профессора Виноградова* — академик В. В. Виноградов (1895–1946), советский языковед, литературовед, автор фундаментальных исследований по русской филологии.

Надо сказать, что К. Бальмонт цитирует статью В. В. Виноградова не вполне корректно, вырывая из контекста нужные ему фрагменты и нарушая не только смысл изложения, но и его ритмический строй.

*Вступительная заметка, публикация
и примечания Ю. И. Семикоза*

Ада Якушева

Песни Ады Якушевой поют и сегодня, хотя новых песен она давно уже практически не пишет.

Она родилась в Ленинграде, в 1956 году окончила литфак Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина, из стен которого вышло немало авторов самодеятельной песни. Работала в многотиражке «Пропеллер» Московского авиационного института, преподавала русский язык и литературу в столичных школах. После поступления в Московское музыкальное училище им. Октябрьской революции руководила студенческими вокальными коллективами в МАИ, МГПИ и МХТИ. С 1967 года и до настоящего времени Ариадна Адамовна Якушева работает на радиостанции «Юность». Одна из первых ее передач — «Соловьи в Петушках» — была посвящена памятной в среде любителей жанра конференции 1967 года, собравшей ведущих бардов, исполнителей, собирателей и исследователей авторской песни. Последние три года она ведет цикл передач «Песня, гитара и я».



* * *

Понимаешь, ночь немая, —
И тревожно, и темно.
Понимаешь, я не знаю —
Навсегда ли ты со мной?

Ну а если вдруг однажды
Ты уйдешь, судьбу кляня, —
Понимаешь, очень важно,
Чтобы ты любил меня.

Сколько строгих слов в дороге —
Для собратьев по лыжне,
Сколько милых разлюбила,
Чтобы ты мне был нужней.

Ну а если вдруг однажды
Ты уйдешь, судьбу кляня, —
Понимаешь, очень важно,
Чтобы ты любил меня.

Понимаешь, ночь немая, —
И тревожно, и темно.
Понимаешь, я не знаю —
Навсегда ли ты со мной?

Ты один, ты самый лучший,
Ты мой свет, моя мечта!
Я грущу на всякий случай —
Понимаешь, просто так.

Здравствуй!

Здравствуй! Это главное — ты здравствуй,
Главное — ты будь, хоть как-нибудь,—
Будь ежесекундно, ежечасно,
Ежедневно, ежевечно — будь!

Будь глазами кораблям упрямым,
Рельсами упрямым поездам,
Будь геологу искомым камнем,
Мною будь, когда со мной беда.

Будь, прошу тебя, в простом и сложном,
Будь, прошу тебя, и в этом суть,
Будь, прошу тебя, покуда сможешь,
А когда не сможешь — тоже будь.

Крыльями, взметнувшимися к небу,
Пением посадочных полос,—
Будь, прошу тебя, повсюду, где бы
Быть тебе сегодня ни пришлось.

Здравствуй, лучший день твой, лучший вечер,
Лучший слог в разгоряченном лбу.
«Здравствуй!» — говорю тебе при встрече,
А теперь при встрече крикну: «Будь!»

1968

Я приглашаю вас в леса

Я приглашаю вас в леса,—
Мы так давно там не бывали,
Что вспоминается едва ли
Их несравненная краса.
Я приглашаю вас, пока
Они уютны и зелёны...
Мы там коленопреклоненно
Испьем воды из родника.

Я по тропе вас поведу —
Она усталость нашу снимет,
И станем снова молодыми
Мы у нее на поводу.
Под вечер сосны започуют,
Над головой сомкнутся ветки,
И нам покажется некрепким
Наш крепкий городской уют.

И под костра знакомый звук
Я приглашаю вас к поляне,

Где бросим между тополями
Мы скатерть прямо на траву.
Здесь юность звонкая моя
Живет, пронизанная солнцем,
Здесь, может, мы и прикоснемся
К великой тайне бытия.

Я приглашаю вас в леса...

1987

Творчество Ады Якушевой дает замечательный повод для разговора о женском начале в авторской песне. Особенности женской речи в отличие от мужской в последнее время начали привлекать внимание лингвистов, вспомним недавнюю статью Е. А. Земской, М. В. Китайгородской, Н. Н. Розановой «О чем и как говорят женщины и мужчины» (Русская речь. 1989. № 1).

«Для передачи различных эмоциональных значений женщины широко используют разнообразные интонационные средства. У мужчин интонация беднее», — читаем в вышеупомянутой статье. Женственная интонация — первое, что ощущаешь, слушая песни Якушевой:

Возьми меня, возьми меня в другие
города!

Не смотри ты так осторожно —
Я могу подумать что-нибудь не то.

Потому что ты есть на свете,
А еще я тебя люблю.

Я не хочу, чтобы ты уходил.

«Прибегать к крайним формам экспрессии — характерный штрих женской речи», — пишут Е. А. Земская, М. В. Китайгородская и Н. Н. Розанова. И примеры такой экспрессии мы находим в песнях Ады Якушевой:

Без тебя я — не я,
Вот история такая.
... ..
Я могу умереть,
Если ты мне не поверишь.

Незащищенная искренность таких признаний сочетается с тонким юмором, легкой самоиронией. Эмоциональный диапазон песен Якушевой широк — от беззаботной влюбленности студен-

ческих лет:

Стоит, о смысле жизни споря,
Не собирается кончать...
О, боже мой, какое горе
Любить такого трепача! —

до глубокого, зрелого и драматичного чувства:

Если б ты знал,
И если б ты имел все время в виду,
Что в этом доме даже лестницы ждут
Тебя зимой и летом... Это...
«О, если б ты знал», —
Твержу я часто, оставаясь одна,
Хотя б ничто не изменилось для нас,
Если б ты знал об этом.

В лучших песнях Ады Якушевой экспрессивная питонация закреплена на стиховом уровне. Обратим внимание на оригинальное ритмическое решение песни «Синие сугробы»: сочетание одной стопы хорea с четырьмя стопами ямба. Первая стопа — это эмоциональный жест, причем очень женственный: «Слушай!», «Знаешь...», «Хочешь...»

При всем этом лирическая героиня Якушевой — это отнюдь не какое-нибудь изнеженное и капризное существо. Она всегда занята серьезной и нелегкой работой, отправляется то в Братск, то на Камчатку. Но, очевидно, высшая правота женщины в том, чтобы великодушно уступать сильному полу первенство в деловых, профессиональных вопросах:

Я, едва они дела поделят,
Сяду рядом, не дыша:
Если парни говорят о деле,
Им не следует мешать.

Творчество Якушевой оказало ощутимое влияние на общую интонационную культуру авторской песни, на ее духовно-эмоциональную атмосферу. Один полюс авторской песни — требующая к себе внимания и уважения женственность, другой — мужественность и джентльменство, которыми отмечены художественные миры Окуджавы и Высоцкого, Визбора и Анчарова, Кима и Кукина. Без этого не было бы и той важнейшей особенности, которая отличает авторскую песню и от стихотворного официоза, и от эстрадного лирического сиропа, — ее неподдельной интеллигентности.

*Публикацию подготовил А. Е. Крылов
Филологический комментарий Вл. Новикова.*

К каждому празднику почта бывает перегружена поздравительными письмами и открытками. Появившись в России в 1894 году, открытка постепенно стала частью наших культурных взаимоотношений. Популярность ее вполне объяснима: красиво оформленная, небольшая по объему, она облегчает наше общение, экономит время. Но всегда ли такое поздравление оказывается действительно праздничным?

Как не вспомнить К. И. Чуковского, который в книге «Жизнь как жизнь» привел письмо разгневанного на школу отца. Его гнев вызвало поздравление дочери: «Дорогой папа! Поздравляю тебя с днем рождения, желаю новых достижений в труде, успехов в работе и личной жизни. Твоя дочь *Оля*». Многим из нас знакомы такие письма, и поначалу может показаться, что ничего «крамольного» в таком тексте нет. Что же так возмутило любящего отца? — Трафаретность, отсутствие личного, ласкового отношения к близкому человеку: «Как будто телеграмму от месткома получал...»

Подобные открытки становятся формальными, а сам текст вообще теряет смысл. Автор такого стандартного поздравления просто как бы сообщает, что он жив и помнит о родных, друзьях. В ответ, как правило, получает почти такие же слова, означающие — «Мы тоже помним о тебе». Однако не все пишущие ограничиваются обменом одинаковых сообщений. Некоторые стремятся оживить свои письма стихами, пусть иногда неуклюжими, но зато искренними и трогательными.

Стихотворные поздравления традиционно существовали в русской классической поэзии. Достаточно вспомнить замечательное стихотворение Д. В. Вeneвитинова «К друзьям на новый год»:

Друзья! настал и *новый год!*
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И всё, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых, искренних друзей.

Живите новым в *новый год*
Покиньте старые мечтанья
И всё, что счастья не дает,
А лишь одни родит желанья!
По-прежнему в год *новый сей*
Любите муз и песен сладость,
Любите шутки, игры, радость
И старых, искренних друзей.

Можно вспомнить прекрасные новогодние стихи С. П. Шевырева, А. С. Хомякова, А. А. Фета, А. А. Блока. Даже А. П. Чехов не удержался от соблазна стихотворного послания. В его поздравлении И. И. Орлову (1898. 29 дек.) есть такое четверостишие:

Год *новый* радостно встречаем
В собрание искренних друзей,
Хозяев *добрых* поздравляем
И всех любезных их гостей.

Ура-а-а!!

Но стихи могут писать не все, а проза почему-то получается официально однотипной. А ведь русский язык неизмеримо богат выразительными средствами. Возьмем хотя бы обращения. Определения, которые вы выбираете, достаточно разнообразны и зависят от степени близости и характера ваших отношений. Можно написать: *милая, родная, любимая, бесценная*, а можно: *дорогая, уважаемая, многоуважаемая*. Начальная фраза поздравления

тоже часто пишется стандартно: *Поздравляю с Новым годом! С днем рождения! С праздником 8 Марта!*

Одни поздравления звучат официально, сдержанно, другие — дружественно, интимно, то есть и такие короткие тексты могут передавать ваше отношение к адресату. Даже и для официального письма своим подчиненным можно подобрать сердечные и теплые слова, например такие:

«Дорогие наши сотрудницы, милые женщины! Искренне желаем вам всем в ваш счастливый весенний праздник счастья и радости, здоровья и надежд! Пусть жизнь ваша не омрачается мелкими заботами, пустячной суетой и большими тревогами, а будет по-весеннему радостной и в семье, и в труде, и в учебе, и на отдыхе! Пусть никогда не покидает вас радость дружбы и светлого ожидания в будущем еще более светлых дней! Всего вам доброго!»

А вот письмо, посланное известным адвокатом А. Кони Марии Гавриловне Савиной, одновременно и сдержанное, и душевное, как образец самой высокой культуры владения русской речью:

«Дорогая Мария Гавриловна, — запряженный в ярмо заседаний Государственного Совета, я лишен возможности поздравить Вас лично с наступающим днем Вашего Ангела, но шлю Вам самые горячие пожелания здоровья, душевного спокойствия и всего, что есть на божьем свете хорошего. В нынешнем году исполняется 30 лет нашего личного знакомства: благодарю Вас сердечно за все отрадное, яркое и светлое, что я из него извлекаю» (С. Высоцкий. Кони. М., 1988. С. 366).

Если обратиться к поздравлениям таких мастеров слова, как Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и др., то можно заметить, что они, как правило, немногословны, и поэтому каждое слово в них становится особенно значимым. Вот поздравление, посланное А. М. Жемчужникову Львом Николаевичем Толстым (1900. 8 февр.): «Любезный и дорогой друг Алексей Михайлович! Очень радуюсь случаю напомнить тебе о себе сердечным поздравлением с твоей твердой и благородной 50-летней литературной деятельностью. Поздравляю себя тоже с почти 50-летней с тобой дружбой, которая никогда ничем не нарушалась. Любящий тебя друг Л. Толстой». В этом небольшом послании автор сумел сказать и об общественной значимости литературного труда юбиляра, и о их многолетней дружбе.

Разнообразны, отмечены тонким юмором и душевностью письма А. П. Чехова. Для каждого из своих адресатов он находит особые слова. Читая их, понимаешь, что за коротким текстом

стоит большая культура души, культура человеческих отношений, культура слова. Вот, например, К. Д. Бальмонту (1902. 1 янв.): «Милый Константин Дмитриевич, с Новым годом, с новым счастьем, с новыми капризами молодой, красивой, сладострастной музы! Да хранит Вас небо! ... Ваш душой А. Чехов»; В. А. Гольцеву (1893. 11 ноября): «Дорогой Виктор Александрович, поздравляю и шлю тысячу пожеланий, исходящих прямо из сердца. Жалею, что обстоятельства мешают мне приплыть сегодня к Вам и поздравить Вас лично. Весь Ваш А. Чехов»; Н. А. Лейкину (1900. 9 апр.): «Христос воскрес, многоуважаемый и дорогой Николай Александрович! Спешу поздравить Вас с сорокалетием Вашей литературной деятельности и пожелать Вам всего хорошего! Дай Вам бог здоровья — это главное, а остальное само приложится, как Вами завоеванное и давно заслуженное. Прасковью Никифоровну поздравляю и от души желаю ей всего лучшего. С истинным уважением Ваш покорнейший слуга А. Чехов».

Можно, видимо, поучиться и сдержанности, и немногословию, и умению в коротком послании выразить и уважение, и искренние человеческие чувства. Обращения к близким людям, родственникам написаны А. Чеховым несколько иначе, полны юмора, шутки. О. Г. Чеховой (1903. 31 дек.): «С Новым годом, с новым счастьем, милая моя дочь, желаю Вам настоящего счастья и побольше денег. Надеюсь, что и в предстоящем, 1904 году Вы будете вести себя хорошо и мне не придется с Вас взыскивать. Имейте в виду, что я строг и вспыльчив и при малейшем нарушении моих требований могу лишить Вас наследства. Вашей свекрови, супругу и детям низко кланяюсь и поздравляю. За письмо сердечно благодарю. Будьте здоровы и благополучны, благословляю Вас и прошу не забывать. Целую обе Ваши ручки. Ваш папаша А. Чехов»; Г. М. Чехову (1904. 1 янв.): «С Новым годом, с новым счастьем, милый Жорж! Желаю тебе куль червонцев и великолепнейшего настроения духа... Крепко жму руку, твой А. Чехов».

Много примеров высокой культуры поздравления мы находим у классиков. Но что делать людям, не обладающим выдающимися литературными способностями? Где взять прекрасные, для каждого случая отдельные, свои слова? Наверное, для этого нужна работа души, желание сказать человеку что-то хорошее, искреннее именно ему предназначенными словами. И чем ближе и дороже вам человек, тем больше возможности оригинально и душевно в коротком послании выразить свои чувства. Например так, как это сделал офицер Советской Армии: «Милая! Хочется угодиться всем пернатым вещунам и прокукарекать: счастли-

вого нового года тебе! Накуковать долгих светлых лет жизни, здоровья, счастья, удачливости. Хочется петь соловьем о твоей красоте, чирикать воробышком о своей преданности. Хочется полететь к тебе соколом, да не могу, служба. Нежно обнимаю тебя и целую, любимая моя. *Твой муж*».

Очевидно, такие письма не будут столь художественными, как у писателей или поэтов. Но не это главное, а главное, что вы вложили в них частицу вашего сердца. Это и есть самое ценное в человеческих взаимоотношениях. Искусство написания поздравления, как и всякое искусство невозможно без вдохновения. Радость родителей и любимой, благодарность друга и просто хорошего знакомого будет вам достойным вознаграждением за добрые слова. Поэтому вместе с поэтом А. Чепуровым хочется пожелать:

Пусть несут почтальоны
С первым бликом рассвета
По метельным дорогам
Сумки, полные света.

«Я люблю этот праздник...»

Псков





КРАСИВ ЛИ ЧЁРТ ?

Ю. Л. ВОРОТНИКОВ,
кандидат филологических наук

Русская народная пословица говорит: «Не так страшен черт, как его малюют». Давайте задумаемся в смысл этого выражения. Что оно значит? Во-первых, черта обычно изображают («малюют») страшным. Во-вторых, это не соответствует действительности: он страшен «не так». А как он страшен? В большей степени или в меньшей? С точки зрения логики выражения типа *Он не так умен, как ты* могут иметь два значения: или *Он более умен, чем ты*, или *Он менее умен, чем ты*. Однако реальное положение дел в языковой практике не всегда соответствует строгим логическим выкладкам. И в данном случае перед нами именно такая ситуация. Если мы говорим *не так умен, не так страшен* и т. д., то обычно это понимается однозначно: *менее умен, менее страшен*. Значит, и приведенную нами пословицу можно понять однозначно: «Черт менее страшен, чем его обычно изображают». Менее страшен, но все-таки страшен. И уж во всяком случае не красив. Вспомним древнерусскую живопись: рога, свиное рыло, свиные же, а иногда и ослиные уши, копыта, хвост и прочие атрибуты. Нет, малосимпатичный персонаж. Даже если учесть, что они попригляднее своих изображений.

То же и в литературе. Черт Ивана Карамазова, действительно, «не так» страшен, но все же он мерзок. Нет, черт — это

не демон. Лермонтовский демон, например,— красавец. И именно таким изобразил его Врубель: демонически прекрасным. Иное дело, опять же лермонтовский «мелкий бес из самых нечиновных» в «Сказке для детей». Может ли он быть изображен красивым на иллюстрации? Конечно, нет. Поэт сам по этому поводу замечает: «Бесов вообще рисуют безобразных». Безобразны они и в знаменитых пушкинских «Бесах»:

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...

И может ли черт или бес стать предметом женской любви? Впрочем, литературе известны такие случаи. Вспомним новеллу «Черт» Марины Цветаевой. Но и здесь любовь вызвана не красотой любимого, а скорее именно его безобразием. Это прекрасная любовь — жалость, свойственная Цветаевой и в творчестве, и в жизни. Итак, на вопрос, вынесенный в заглавие, мы можем твердо ответить: нет, черт не красив. Он страшен (пусть даже в меньшей степени, чем его изображают) или, в лучшем случае, жалок.

Отрицательным был бы ответ и на другой вопрос, касающийся интеллектуальных способностей нечистого: нет, черт не умен. Может быть, хитер, злокознен, но глуп. Таков он в русских народных сказках, таков и в пушкинской «Сказке о попе и работнике его Балде». Даже в рассказе Леонида Андреева «Правила добра» нетрадиционный, возлюбивший добро черт все-таки имеет «несколько туловатый ум».

И, тем не менее, нет никаких сомнений в том, что читателю не раз приходилось слышать, а скорее всего и самому употреблять выражения, подобные следующим: *Она чертовски красива; Он чертовски умен*. Вообще в нашей речи черт оказываетсяместилищем самых разнообразных качеств. Он физически очень силен: «У нее чертовски крепкое телосложение» (В. Кин. По ту сторону). Поэтому черт отличный спортсмен: «Она особенная какая-то, на тех, богатынских, не похожа,— думал он,— и бегаёт как черт» (Н. Островский. Как закалялась сталь). Нечистый очень неопрятен, что, впрочем, понятно и соответствует его названию: «А трактористы грязнее самого черта» (М. Алексеев. Вишневый омут). Черт не отличается приятным характером: «Возвращался он от Коновалова к вечеру злой как черт» (М. Алексеев. Дивизионка). Но в то же время он наделен большими способностями: «А у Вадима блестящее будущее. Он чертовски талантлив» (Д. Гранин. Искатели). Примеры можно было бы ум-

пожать и умножать. И вырисовывающийся из них образ поразителен: интересующий нас персонаж оказывается личностью очень богатой, разносторонней и крайне противоречивой.

Любопытно, что, выступая под вторым своим именем — *бес* — черт лишается большей части своих качеств, причем положительных. Мы говорим: *Он бесовски хитер, Он зол как бес* и т. п. Однако вряд ли кто-нибудь скажет: *Она бесовски хороша, Он бесовски талантлив*.

Непосредственный, так сказать, начальник черта — *дьявол* — тоже наделяется различными характеристиками. В первую очередь, конечно, ему приписываются отрицательные качества: *дьявольски зол, хитер, уродлив* и т. п. Однако говорим мы и так: *Он дьявольски умен*. Или, к примеру, так: «Даже усталая после дороги и любовных приключений она [Дарья] была дьявольски хороша!» (М. Шолохов, Тихий Дон).

Меньше повезло в этом смысле *сатане*. Наличие у него каких-либо положительных черт отрицается начисто. И если, например, М. Алексеев пишет: «Мороз пьянел, глаза его горели сатанинским огнем...» (Вишневый омут), то мы вряд ли истолкуем этот огонь как сулящий нам что-то приятное. Сатанинский огонь может испепелить, но согреть — вряд ли.

Аналогична судьба демона. Словарь русского языка в 4-х томах, к примеру, так толкует значение прилагательного *демонический*: «Свойственный демону, злобный» (т. I. С. 385). И если красоту или ум кого-то мы определяем как демонические, то характеристика эта явно не положительная.

Как правило, не связываются в нашей речи какие-либо положительные качества и с родней нечистого по женской линии. К примеру, весьма и весьма ограничен круг ситуаций, в которых ваша собеседница могла бы воспринять сравнение ее с ведьмой как комплимент.

Вообще из всех персонажей высшей и низшей демонологии наиболее часто поминаемыми являются *черт* и *дьявол*, и именно они проявляют способность выступать в качестве эталонов предельно высокой степени проявления различных положительно или отрицательно оцениваемых признаков.

Особенно широкий круг языковых единиц связан с существительным *черт*. Все они употребляются в разговорной речи или в ориентированных на разговорную речь жанрах речи письменной и служат для обозначения высокой степени проявления процессуального или непроцессуального признака. Таким значением может характеризоваться, в частности, прилагательное *чертовский* при употреблении с существительными, называющими спо-

собное изменяться по степеням свойство (*чертовский холод, чертовское здоровье, чертовская глупость* и пр.) или человека, обладающего таким свойством (*чертовский добряк* и пр.).

Наречие *чертовски* имеет значение «очень, до крайности» (МАС. Т. 4. С. 670) и может употребляться с широким кругом прилагательных, наречий и глаголов, например: «Это чертовски неприятная история» (В. Кин. По ту сторону); «Она ко мне плохо относится, чертовски плохо относится» (из устной речи); «Он только сейчас понимает, как чертовски замерз» (В. Горбатов. Мое поколение). Не следует думать, что это наречие может сочетаться только со словами, обозначающими обязательно отрицательно оцениваемые непроцессуальные или процессуальные признаки. Что это не так, подтверждают примеры: «Ведь это чертовски интересно — соорудить такое» (Н. Сизов. Конфликт в Приозерске); «Привык я к тебе, лопоухому, чертовски привык» (В. Некрасов. В окопах Сталинграда).

Следовательно, прилагательное *чертовский* и наречие *чертовски* могут обозначать высокую степень проявления как отрицательно, так и положительно оцениваемого признака.

Такая же ситуация в сравнительных конструкциях, в которых существительное *черт* выступает в роли эталона какого-либо признака. Мы говорим, с одной стороны, *злой как черт, хитрый как черт*, а с другой стороны, употребительны и выражения *добрый как черт* или *красивый как черт* в значении «очень добрый» или «очень красивый» (см., например, у Б. Окуджавы: «Но кларнетист красив как черт»). Вполне нормальны также высказывания и *устал как черт* в смысле очень устал, и *работает как черт* в значении хорошо работает.

С существительным *черт* связан ряд фразеологизмов, имеющих то же значение высокой степени проявления признака. Это такие, например, обороты: *черт знает как, черт знает какой*: «Нынче что касается любовных там каких-нибудь историйек — черт знает как просто» (М. Зощенко. Мадонна), «...Карнеев с Петровым черт знает какие молодцы!» (Ю. Нагибин. Шампиньоны); *как черт знает что*: «— Говорю вам, капризен, как черт знает что!» (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); *черт-те как, черт-те какой*: «Трудно было, — говорил Скворцов и злобно щурился, — черт-те как трудно» (Ю. Герман. Наши знакомые), «Мы платим за квартиру столько же, сколько другие жильцы, а живем в черт-те каких плохих условиях» (из телепередачи); *до чертиков*: «И мне порой становилась до чертиков ясна жизнь Володи в доме Игумновых...» (Ю. Трифонов. Старик), «А вообще

надоело. Сидение надоело. До чертиков надоело» (В. Некрасов. В окопах Сталинграда).

Все эти фразеологизмы в принципе могут употребляться со словами, называющими как положительно, так и отрицательно оцениваемые признаки. Фразеологизм же *ни к черту* имеет значение: «Совсем плох, никуда не годен в каком-либо отношении» (Фразеологический словарь русского языка. М., 1986. С. 525), например: «Я, ребята, скажу открыто: дело ни к черту» (Н. Островский. Как закалялась сталь).

От существительного *дьявол* образуется меньшее число слов со значением высокой степени проявления признака. Среди них наиболее употребительно наречие *дьявольски*, которое является синонимом наречия *чертовски* и может использоваться в таких же ситуациях, например «Они были дьявольски тяжелы и провалились в рыхлый снег почти целиком» (В. Кин. По ту сторону), «Учеты у них аховые и проверить по-настоящему — дьявольски трудно!» (В. Богомолов. В августе сорок четвертого).

От существительного *ад*, называющего место обитания нечистой силы, также могут образовываться слова, обозначающие высокую степень проявления признака. Словарь русского языка в 4-х томах, например, приводит среди значений прилагательного *адский* значение «чрезвычайный», «чрезмерный». Это же значение указывается и для наречия *адски* (т. I. С. 26). Используются эти слова, в основном, при характеристике отрицательно оцениваемых признаков, например: «Свистал адски холодный ветер, темно было, как в животе черной кошки» (А. Грин. Автобиографическая повесть). Однако встречаются такие случаи их употребления, когда однозначно ответить на вопрос, какова оценка признака, затруднительно, например: «Выносливость у него оказалась адская» (В. Попов. Обретешь в бою). Адская выносливость — это хорошо или плохо? Скорее всего, все-таки хорошо.

Интересно отметить, что прилагательные и наречия, образованные от имен антагонистов дьявола и черта — бога и ангела — гораздо в меньшей степени проявляют способность использоваться в роли не осложненных качественным значением показателей степени признака. Прилагательное *божественный*, например, может иметь значение «прекрасный», «дивный» (МАС. Т. I. С. 103), то есть обозначать очень высокую степень положительно оцениваемого признака. То же можно сказать и о наречии *божественно*. Выражения *Он божественно поет; у него божественный голос* нельзя, конечно, истолковать в том смысле, что «Он поет, как бог», «У него голос, как у бога». Значение их другое: «Он поет очень хорошо»; «У него прекрасный голос». Следовательно,

слова *божественный* и *божественно* в какой-то мере сблизились по значению с показателями степени признака, однако это сближение еще очень и очень незначительно.

Прилагательное же *ангельский* и наречие *ангельски* могут употребляться только для обозначения конкретных признаков, приписываемых традиционно ангелу. В 4-томном Словаре русского языка находим такое толкование значения прилагательного *ангельский* при его употреблении в разговорной речи: «Отличающийся чрезвычайной кротостью, нежностью, добротой» (т. I. С. 37). Именно в таком значении употреблено оно в следующем примере: «Соседи, как заключила жена за время своего десятиминутного знакомства, — люди ангельского характера» (М. Алексеев. Кто он?).

То же может быть сказано и о словах *райский*, *райски*. Выражение *райский уголок*, например, имеет конкретное значение «уголок такой, как в раю».

В чем же причина такого, так сказать, «неравноправия» в употреблении слов *дьявольский* (*дьявольски*), *чертовский* (*чертовски*), *адский* (*адски*), с одной стороны, и *божественный* (*божественно*), *ангельский* (*ангельски*), *райский* (*райски*) — с другой? Почему слова первой группы проявляют (правда, в разной степени) способность выражать как положительную, так и отрицательную оценку, а слова второй группы такой двузначности лишены?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить, что слова первой группы относятся к тому слою лексики русского языка, о котором как-то не принято говорить. Это так называемая бранная лексика, или ругательства. Правда, во всех современных словарях такие слова, как *чертовски* или *дьявольски* несут помету «разговорное». Однако их исконная связь с бранной лексикой вполне очевидна. Ведь и глагол *чертызиться* имеет значение «ругаться» (См. напр.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. 1953. С. 817).

Отношение к этому слою лексики в настоящее время вполне однозначно. Брань, ругательства категорически (и вполне справедливо) осуждаются как явление, недопустимое в речи культурного человека. Однако М. М. Бахтин по этому поводу замечает: «Было бы нелепостью и лицемерием отрицать, что какую-то степень обаяния... они (т. е. ругательства — Ю. В.) еще продолжают сохранять» (Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М. 1965. С. 34).

Причину этого сохраняющегося еще обаяния М. М. Бахтин усматривает в том, что ругательства наравне с различными об-

рядово-зрелищными формами и словесными смеховыми произведениями формировали в свое время так называемую народную смеховую культуру. Поэтому в них «как бы дремлет смутная память о былых карнавальнх вольностях и карнавальной правде» (там же. С. 34).

В качестве важнейшей особенности народного смеха М. М. Бахтин указывает то, что он «развенчивает и увенчивает одновременно», сочетает в себе «хвалу и брань», является амбивалентным, «двухтонным», то есть двусмысленным (там же. С. 180). Отсюда и сохранившаяся до наших дней способность связанной первоначально с народной смеховой культурой группы слов *чертовски*, *дьявольски* и т. п. выражать как отрицательную, так и положительную оценку степени признака.

Завершая свои размышления о месте ругательств в современной и средневековой культуре, М. М. Бахтин пишет: «Серьезная проблема их неистребимой живучести в языке по-настоящему еще не ставилась» (там же. С. 34). Конечно, нет никаких сомнений в том, что необходимо всячески бороться за искоренение ругательств из нашей повседневной речи, так как в современных условиях они представляют собой «обрывки какого-то чужого языка, на котором когда-то можно было что-то сказать, но на котором теперь можно только бессмысленно оскорбить» (М. М. Бахтин. Указ. соч. С. 34). Однако не менее очевидно, что у ученых-языковедов нет никаких оснований стыдливо закрывать глаза на это явление. Объяснить его — одна из их задач. Наша статья как раз и является шагом в этом направлении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ОБЩЕЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Л. А. КУДРЯВЦЕВА,
доцент Киевского университета



распространение технической терминологии, ее употребление в литературном языке — это особенность русского языка советской эпохи. Раз-

витие науки, техники, производства влечет за собой появление новых терминов. Техническая речь занимает большее место в общей речи, чем прежде, термины широко входят в литературную норму. Специальные слова становятся достоянием масс, перестают быть узкопрофессиональными. Активизацию технической терминологии отражают современные толковые словари русского языка. Количество специальной лексики в них неуклонно растет. Происходит постоянный процесс обогащения словарного состава русского литературного языка за счет технических терминов.

Один из основных каналов проникновения терминологической лексики в общее употребление — средства массовой информации. Специфика этой речевой сферы — печати, радио, телевидения — такова, что она отбирает термины социально важные, актуальные для жизни общества. Вот некоторые слова и словосочетания: *гидрораспределитель, роботизация, робот-манипулятор, безотходная технология, гидроаккумулирующая электростанция, энергонасыщенный трактор* и под.

Использование терминов в языке газеты, радио, телевидения способствует, с одной стороны, постепенному усвоению их широкими читательскими кругами, а с другой — из «слова для специалистов» термин превращается в «слово для всех», происходит «олитературивание» специальной лексики. Значение неизвестного термина в тексте, в речи поясняется, например: «В Одесской области начато сооружение крупнейшего на юге Украины завода по производству карбонита — ценного азотного удобрения» (телепрограмма «Время», 1982, 27 апр.). Зачастую сам способ образования специальных слов — с использованием уже известных терминологических

гических, а также общелитературных элементов — «подсказывает» значение того или иного слова (так называемое мотивированное терминсобразование): *бездоменный, гидрораспределитель, озонатор, озонирование* или *азробус, гелиобус, микроэлектробус, электробус* (сравните с общеупотребительным словом *автобус*). Понимание этих слов не требует специального, поясняющего контекста.

Активное употребление технической терминологии способствует тому, что в газетно-публицистической речи используются варианты слова и словосочетания, стяжения, сложносокращенные слова и др.: *электронная вычислительная машина — ЭВМ; линия электропередачи — ЛЭП; газовый конденсат — газ-конденсат-конденсат; энергетические ресурсы — энергоресурсы; доменная печь — домна; энергетическая трасса — энергетический мост — энерго-мост — энергомагистраль* (о линии электропередачи, ЛЭП) — *энергорека*. Приведем примеры их употребления в телепрограмме «Время» (1982, апр.): «Уже ныне строители ЛЭП спешат: *энергетическая трасса* должна быть сдана в эксплуатацию»; «...через Витим был перекинут еще один *мост — энергетический*. На правом берегу этой сибирской реки на территории Читинской области установлены первые стальные опоры ЛЭП-200»; «В Карелии начато строительство второй высоковольтной линии электропередачи... Этот *энерго-мост* напряжением в двести двадцать киловольт берет начало у реки Кемпъ в Припсярье». А это пример из «Комсомольской правды»: «Все дальше в горы уходят серебряные нити высоковольтной линии ЛЭП-500. *Энергорека* берет свое начало на Токтогульской ГЭС и направляется через пять перевалов к столице республики — городу Фрунзе» (1982. 14 апр.).

Некоторые технические слова подвергаются переосмыслению, получают новые, нетерминологические значения. Сфера употребления таких слов расширяется. Этот процесс принято называть детерминологизацией. Переосмысление терминов известно русскому языку с XVIII века. Исследователи отмечают развитие переносно-образных значений в это время у слов военной и научной лексики (*фортеция* правды, *атаковать* словом, *горизонт* высокоумия). Однако этот процесс в Петровскую эпоху не был активным, он лишь намечался.

В XIX веке продолжалось переосмысление многих терминов военного дела: *мобилизация* общественных сил, *застрельщики* публицистической пропаганды (до 70-х годов XIX века *застрельщик* — это «стрелок, действовавший в рассыпном бою»), научных: *депрессия* в промышленности; религиозно-философских: политическое *рenegатство*, *индифферентизм* к общественным делам; театр-

рально-художественных: *авансцена* жизни. В это время появляются в общем языке отдельные технические термины. В «Записных книжках» П. А. Вяземского встречаем слово *тормоз* в значении «препятствие, помеха в чем-либо»: «Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию» (см. другие примеры в книге «Лексика русского литературного языка XIX — начала XX века». М., 1981).

В начале XX века технические термины все чаще включаются в публицистическую речь (*агрегат, динамика, конгломерат, резервуар*): «Общество есть агрегат людей» (Михайловский. Записки профана); «Итак, за 25 лет производство более чем удесятирилось; только о динамике явления и можно судить по этим данным, которые отличаются чрезвычайной неполнотой» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 260); «[Постников] едва ли не впервые попробовал разработать данные о разных группах крестьянства, а не о „конгломератах разнообразнейших групп“» (Ленин В. И. Т. 3. С. 94. Примеч.); «Из этих резервуаров нарождающегося пролетариата темный народ расползается по селам» (Успенский Г. Письма с дороги).

После Великого Октября резко увеличилось число производственно-технических слов в общем употреблении. Соответственно возросла активность и процесса переосмысления этого разряда слов в различных речевых сферах и прежде всего — в художественной и газетно-публицистической. Широкое распространение получили переносные, образно-расширительные значения таких технических терминов, как *плавка* (*переплавка*), *шлак*, *двигатель*, *трение*, *индикатор*: «А дело-то поворачивается так, что, поди, и тебя самого возьмут в *переплавку*. Время такое» (Кочетов. Журбины); «Когда плавится новая жизнь, *шлаки* неизбежны» (Гладков. Энергия); «Лилька сердечная. У нее хорошая основа, а сверху *шлак*. Почисти *шлак* — другой человек будет» (Кетлицкая. Мужество); «Талант — это драгоценный *двигатель*» (Николаева. Битва в пути); «Сотрудничество — *двигатель* прогресса» (Правда. 1982. 1 апр.); «Вот вы считаете меня консерватором... А я вовсе не консерватор... Я просто укорачиваю вани завихрения. Я, так сказать, осуществляю роль *трения*: торможу, сдерживаю движение и одновременно делаю это движение возможным» (Трифонов. Утоление жажды); «Литература — самый чуткий *индикатор* происходящих в мире и в обществе перемен» (Правда. 1986. 28 июня).

Термины, попавшие в орбиту переносного употребления, начинают жить по законам общелитературного языка: подвергаются дальнейшим смысловым преобразованиям, обрastaют производ-

ными от них словами и т. д. Так, например, современные толковые словари к определению прямого значения слова *конвейер* «устройство для непрерывного перемещения обрабатываемого изделия от одной операции к другой или для транспортировки грузов» добавляют толкование возникшего на его основе словосочетания *зеленый конвейер* «система планового производства зеленых сочных кормов для непрерывного снабжения ими скота в течение всего пастбищного сезона». Сочетаемость слова *конвейер* с другими словами продолжает расширяться, появились многочисленные словосочетания: *конвейер качества*; *конвейер домов*; *уборочный, овощной конвейер* и многие другие (примеры сочетаний со словом *конвейер* приведены в статье А. С. Сычева // Русская речь. 1983. № 3), которые свидетельствуют о том, что у слова *конвейер* сформировалось новое значение — «организация какого-либо процесса, основанная на четкой взаимосвязи отдельных его звеньев, непрерывности, поточности». В основе переосмысления лежит смысловой признак «непрерывность» (Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов. М., 1984).

Новое значение слова *конвейер* поддерживается и производными от него словами: «Еще раз о студенческом *агроконвейере* (речь идет о комплексе работ студенческого отряда от уборки до продажи урожая. Комс. правда. 1987. 28 июля); «Спали мы сидя... Порой удавалось прилечь на скамейку — тогда между нами и конвейерно-монотонным стуком колес исчезало всякое расстояние» (Алексин. Ивашов).

Отвечая на вопрос, поставленный в названии этой статьи, нужно признать, что употребление технических терминов в общелитературном языке — это закономерный и естественный факт, результат развития науки и техники, растущей ее роли в жизни советского общества. Обогащение активного словарного запаса русского литературного языка за счет терминов и дальнейшее переосмысление ряда специальных слов в общем употреблении — одно из проявлений развития лексико-семантической системы языка. Происходит расширение использования технической терминологии: слова, ранее бытовавшие только в профессиональной среде, активно входят в газетно-публицистический и художественный стили речи.

К 100-летию со дня рождения НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ТРУБЕЦКОЙ

В. К. ЖУРАВЛЕВ,
доктор филологических наук



Современная научно-техническая революция — результат целой серии научных революций тридцатых годов нашего века. Мы с глубокой признательностью вспоминаем имена Альберта Эйнштейна, Нильса Бора, К. Э. Циолковского, но при этом забываем, что тогда же совершалась и лингвистическая революция, отразившаяся на характере научного мышления XX века в целом. По свидетельству С. Маркуса, представители многих наук считают современное языкознание ведущей нау-

кой (S. Marcus. *Linguistics as a pilot science*. In: *Current trends in linguistics*. The Hague — Paris, 1974, vol. 12). Лингвистика оказала благотворное влияние на развитие теории письма (грамматологии), стиховедения, стилистики и литературоведения театро- и киноведения, истории культуры и этнологии, психологии и антропологии, социологии и археологии, семиотики, символической логики и теории чисел, комбинаторной геометрии, теории информации, теории кода и кибернетики вплоть до фундаментальных открытий в современной генетике. Коллектив французских математиков, опубликовавших серию книг под псевдонимом Никола Бурбаки, признавал, что идея всеобщей структурализации математики зародилась под влиянием идей Н. С. Трубецкого о системообразующих связях объекта познания, наиболее четко разработанных в его «Основах фонологии».

До последнего времени наша научная общественность очень мало знала о Н. С. Трубецком. Лишь благодаря инициаторам

русского издания «Основ фонологии» (М., 1960 г.) отечественная наука обрела Н. С. Трубецкого — фоолога, безусловно, оказавшего влияние на всестороннее развитие фонологии в нашей стране. И лишь совсем недавно наши лингвисты смогли познакомиться со многими другими работами выдающегося ученого. В 1987 году вышел том избранных трудов Н. С. Трубецкого с детальным обзором его научной деятельности (Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов, Н. И. Толстой. *Послесловие к книге: Н. С. Трубецкой. Избранные труды по филологии.* М., 1987).

Николай Сергеевич Трубецкой родился 16 апреля 1890 года в Москве, в семье крупнейшего представителя русской философской мысли, профессора истории философии, Сергея Николаевича Трубецкого (1862—1905), избранного в свое время ректором Московского университета. Род князей Трубецких восходит к Гедиминовичам. К этому роду принадлежал и декабрист С. П. Трубецкой.

Николай Сергеевич Трубецкой прожил недолгую, но очень сложную и творчески богатую жизнь. Полная библиография его работ содержит 171 название. Работы Н. С. Трубецкого постоянно переиздаются на многих языках мира. Так, только «Основы фонологии» издавались шесть раз на немецком, шесть раз на французском, по одному

разу на английском, японском, итальянском, испанском, польском и русском языках. Огромный том его писем Р. О. Якобсону объемом в 530 страниц издан дважды (в 1975 и 1985 гг.), к сожалению, за пределами Родины двух основоположников лингвистического мышления XX века.

Во многих научных дисциплинах гуманитарного цикла Н. С. Трубецкому принадлежат крупнейшие достижения общенаучного значения. Открытие явления маркированности и понятия признака в фонологических оппозициях, французский историограф лингвистики М. Вьель сравнивает с открытиями Архимеда и Ньютона (M. Viel. *La notion de «marque» chez Troubetzkoy et Jakobson: Un episode de l'histoire de la pensee structurale.* Lille — Paris, 1984). В роли яблока, по мнению М. Вьеля, выступал твердый знак -ъ-, опущенный в конце слова, по новой орфографии (пыль — пылъ → пыл — пыль). Признаком мягкостной корреляции стал мягкий знак; твердый согласный проявился как немаркированный, а его мягкий коррелят — как маркированный член оппозиции. Р. О. Якобсон перенес понятие признака в фонологических оппозициях в морфологию и лексику, придав ему общелингвистический характер.

Введенное Н. С. Трубецким понятие признака, открытие явления нейтрализации фооло-

гических противопоставлений и выявление других системообразующих факторов позволили вскрыть механизм соединения отдельных языковых элементов в целостную систему. И, пожалуй, никто ни до, ни после Трубецкого не дал столь четкого, столь ощутимого представления о системе языка, о внутренней логике его устройства, саморазвития и самосохранения. Осознание системного устройства объекта исследования и составляет глубинный смысл научных революций XX века. Этим во многом объясняется незатухающий, все возрастающий интерес к работам, письмам, идеям Н. С. Трубецкого.

Необычайная широта научных интересов и неутомимая жажда знаний характеризуют Н. С. Трубецкого с гимназических лет. Еще в отрочестве его увлекла проблема русского самопознания, сопоставление всего русского со всем славянским, с соседними народами и их культурами, с Западом и Востоком. Еще в пятом классе гимназии он глубоко заинтересовался финским эпосом, Калевалой. С тринадцати лет Трубецкой регулярно посещал заседания Этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. Первым его наставником был Ес. Ф. Миллер, поддерживавший в свое время первые шаги в науке А. А. Шахматова, Р. О.

Яacobсона и других. В 1905 году появилась первая публикация Н. С. Трубецкого о пережитках языческого мировоззрения в одной из финских народных песен. Его привлекали и сравнительная мифология, и фольклор финно-угорских, кавказских народов.

В шестнадцать лет будущий ученый собрал разрозненные материалы о палеоазиатских языках, тогда еще малоизученных, составил краткий словарь и грамматику ительменского («камчадалского») языка и пытался найти его место среди самодийских и уральских языков, предприняв одну из первых попыток их сравнительно-исторического изучения.

В 1908 году Трубецкой поступил на философско-психологическое отделение историко-филологического факультета Московского университета. В студенческие годы он ездил в научные экскурсии на Северный Кавказ с целью изучения языков и фольклора народов Кавказа. С третьего семестра перешел на отделение языка и литературы, где пропел школу классической компаративистики у талантливых учеников Ф. Ф. Фортунатова — В. К. Поржекзинского и В. Н. Щепкина. Он был активным участником семинара Н. Н. Дурново, целью которого была «систематическая ревизия взглядов на историю русского языка». Тогда же Трубецкой поставил перед собой задачу

создания сравнительно-исторической грамматики северокавказских языков.

В период подготовки к магистерским экзаменам (1913–1914) Н. С. Трубецкой слушал лекции немецких компаративистов А. Лескина и К. Бругмана в Лейпцигском университете. В 1915 году он стал приват-доцентом Московского университета, где вел занятия по сравнительному языкознанию и санскриту. На одном из заседаний Московской диалектологической комиссии он сделал доклад о методах восстановления общеславянского праязыка. Доклад имел эффект разорвавшейся бомбы. Опираясь на постулаты классической индоевропеистики, с одной стороны, и собственный опыт сравнительно-исторических исследований бесписьменных языков, — с другой, Трубецкой предложил более совершенные методы реконструкции, более законченное представление о праязыке. Тогда же он задумал книгу, предварительно назвав ее «Предысторией славянских языков». В качестве докторской диссертации Николай Сергеевич решил взять тему «История возникновения и распада общеславянского праязыка».

Судя по письмам, составление истории праславянского языка с тех пор стало основной целью его жизни. Он мечтал составить «полную картину звуковой эволюции одного из диалектов индоевропейского праязыка вплоть

до распадаения этого диалекта на более дробные подразделения. Во второй части при свете полученных данных о эволюции звуков... полагал пересмотреть изменения морфологии и словаря, классифицировать эти изменения также хронологически, чтобы картина таким образом получилась полная» (N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes. Ed. by R. Jakobson. The Hague — Paris, 1975. С. 447).

Первая часть была готова в 1918–1919 гг. Тогда Н. С. Трубецкой работал в Ростовском университете. Работа над историей праславянского языка шла параллельно с составлением сравнительной грамматики языков Северного Кавказа. Попутно были составлены грамматика и словарь черкесского языка. При помощи классических приемов сравнительно-исторического метода были реконструированы корнеслов и фонологическая система праязыка.

Достоверность реконструкции подтвердилась открытием и дешифровкой мертвого хурритского языка. Н. С. Трубецкой впервые в науке доказал применимость сравнительно-исторического метода к материалу бесписьменных языков и по праву считается основателем этой отрасли языкознания.

Что касается истории праславянского языка, то это первый опыт «динамической» реконструкции праязыка, основанной на тщательном учете данных

относительной хронологии. Здесь праязык рассматривается как полидиалектный феномен. Концепция Н. С. Трубецкого — своеобразный синтез модели родословного древа и теории воли.

В 1919 году Н. С. Трубецкой эмигрировал за границу. Рукописи его фундаментальных исследований по истории праславянского языка и сравнительно-исторической грамматике кавказских языков были сданы на хранение в библиотеку Ростовского университета и до сих пор, к сожалению, не обнаружены. На некоторое время Н. С. Трубецкого приютил Софийский университет (1920–1922 гг.) Затем благодаря настойчивым хлопотам И. В. Ягича и П. Кречмера Н. С. Трубецкой получил должность ординарного профессора славянской филологии в Венском университете.

Еще в Софии он пытался восстановить по памяти и создать новый вариант рукописи истории праславянского языка, написал и отправил в славистические журналы несколько статей-фрагментов из этой монографии (об относительной хронологии фонетических процессов, о праславянской ицтонации, словообразовании и формообразовании). Собственно, по этим публикациям (1921–1925 гг.) мы и можем судить о характере новаторских идей Н. С. Трубецкого в области славянской компаративистики.

Всего 15 лет Н. С. Трубецкой проработал в Вене. В двадцатые годы он восстанавливал, точнее, писал заново текст «Праистории». В Вене он двенадцать раз читал, постоянно дорабатывая, курс сравнительной грамматики славянских языков. В каждом семестре вел также два — три курса истории русского и других славянских языков (восемь раз был повторен курс старославянского языка). А в 1935 году он читал специальный курс по истории праславянского языка. В 1929 году опубликовал отдельной книгой свои результаты реконструкции мертвого полабского языка.

Своими взглядами относительно нового решения разнообразных проблем из истории праславянского и славянских языков Н. С. Трубецкой постоянно делился с Р. О. Якобсоном. Ему удавалось вскрывать взаимосвязи явлений, ранее казавшихся разрозненными, разглядеть «внутреннюю логику» языковой эволюции. «В истории языка многое кажется случайным, — писал он Р. О. Якобсону (22.12.1926 г.), — однако общие линии истории языка при сколь-нибудь внимательном размышлении всегда оказываются не случайными. Осмысленность эволюции языка прямо вытекает из того, что „язык есть система“...»

Р. О. Якобсон несколько раз договаривался с различными издательствами о возможности

издания «Праистории славянских языков», но сам Трубецкой полагал, что над рукописью еще следует немного поработать... Некоторые детали общетеоретического характера ему казались еще недостаточно четко сформулированными. И в самом деле, лишь к концу тридцатых годов ему удалось решить задачу выявления системного устройства фонологического яруса языка, найти основные системообразующие факторы и установить взаимосвязи между ними. Этому и была посвящена его книга «Основы фонологии», изданная посмертно в 1939 году.

Н. С. Трубецкой не смог перенести аншлюс Австрии. 25 июня 1938 года ученый скончался. На квартире и в университете был обыск, рукописи конфискованы и пропали в гестапо. Среди них была и рукопись «Предыстории славянских языков». Осталась не завершенной вторая часть «Основ фонологии», фонология диахроническая, в которой должны быть изложены общие законы эволюции фонологической системы.

Ему не удалось осуществить замысел «Структурной морфологии», над которой, судя по письмам, Н. С. Трубецкой «постоянно думал» и с увлечением работал в 1931–1933 годах. Многие из задуманного он не успел, многое из написанного пропало... Но осталось ощущение страсти и радости познания, неустанного поиска истины, содержа-

щейся в каждом абзаце его творений, в каждой проблеме, которой касалась эта личность кристальной чистоты души.

В короткой статье нет возможности охватить все проблемы, которые ставил и решал гениальный ученый, великий гуманист и интернационалист, гражданин мира. Особо следует отметить его публичные выступления против расизма и фашизма (статья «О расизме», 1935 г.).

Его книга «Европа и человечество» выдержала четыре издания на русском, болгарском, немецком и японском языках.

Как выдающегося представителя русского народа, русской культуры, его глубоко волновала проблема «русского самопознания», вставшая перед ним еще в юности. Он опубликовал несколько работ о Ф. М. Достоевском, Н. В. Гоголе, Л. Н. Толстом и А. С. Пушкине, статьи о «Слове о полку Игореве», о церковнославянском и древнерусском стихосложении. Его исследование «Хождение Афанасия Никитина» выдержало пять изданий на русском, английском и французском языках.

На здании Венского университета установлена мемориальная доска с барельефом Н. С. Трубецкого и надписью на немецком языке:

Н. С. Трубецкой

Славист

Основатель фонологии
(1890–1938)



В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА

О. Н. ТРУБАЧЕВ,
член-корреспондент АН СССР



Если бы меня спросили, какие проблемы из всей обширной науки славянской филологии привлекают меня более всего, я бы назвал две равновеликие проблемы — происхождение славянских языков и народов и возникновение славянской письменности. Наша книжная старина хранит сказания о начале славянской письменности, и это уже само по себе замечательно. Мне, например, неизвестны сказания о возникновении германской письменности... Считается, что именно германские племена опрокинули Западноримскую империю, что не помешало им затем принять из рук Рима не только христианство, но и латинское письмо. Казалось, такая же естественная судьба ждала и славян, живших в тени мощной греко-римской культуры.

Но случилось другое. В 60-е годы IX-го столетия один человек, блистательный ученый Константин Философ, в монашестве — Кирилл, впервые сложил буквы славянского письма. Славянские книжники всегда умели гордиться этим великим культурным

актом. Медленному вырастанию греческого алфавита из восточного письма они противопоставляли славянское письмо, которое создал «един свят муж». Возникновение латинского письма из западногреческих алфавитов тянулось столетиями, и здесь также нет авторства, нет печати гения. У нас вообще не так много таких точных великих культурных дат древности, как эта: вот уже 1127 лет, как мы пользуемся славянской азбукой. Это письмо, созданное в Моравском княжестве, было с самого начала адресовано всем славянам. Наша начальная летопись хорошо видела и этническое единство всех славянских племен («а се язык словенск»), и единство славянского письма («тем же и грамота прозвася славянская»).

И пусть западные славяне в ходе истории и роста влияния католического Рима перешли на латинское письмо,— все равно они хранят память ослепительной культурной вспышки зарождения оригинального славянского письма. Что же говорить о нас, чья культура непрерывно продолжает кирилло-мефодиевские традиции! Неприкосновенность этих традиций поистине удивительна. Ведь даже значительность петровских преобразований выразилась не столько в европеизации государственных и общественных институтов, сколько, может быть, в том, что не посягнули на русское кирилловское письмо. Ограничились лишь умелой модернизацией его начертания, причем сделано это было так удачно, с таким тактом, что другие славяне, пользовавшиеся кириллицей, без колебаний перешли потом на русский гражданский шрифт кириллицы. Так красиво возвратила Россия старинный культурный долг тем славянам, которые раньше нее приобщились к славянскому письму.

Славянское письмо, книги славянского письма — извечный столп нашего культурного самосознания. Мы с благодарностью думаем о первоучителях славян — Кирилле и Мефодии, братьях, день памяти которых — 24 мая. Не случайно в некоторых славянских странах, например, в Болгарии, этот день празднуется как День славянской письменности и культуры. Думаю, давно пора и в наш официальный календарь занести этот день как Международный праздник славянской письменности и культуры. Этот день памяти — один из символов единства славянских народов. Единство славян — важная тема, ибо сознание этого единства входит в самосознание самих славян. В нем никто никогда не сомневался, его не надо было доказывать, не требовалось насаждать путем просвещения. Его боялись те, кто в этом единстве не был заинтересован, и свидетельства этой боязни доходят до нас из прошедших веков (М. Басай. Языковые аспекты славянского са-

мосознания до XVI-го в., 1987). Историки отмечают такое далеко не повседневное явление, как сознание принадлежности не только к собственному народу болгар, моравян и др., но и ко всему славянству у современников Кирилла и Мефодия (Д. Ангелов. Славянский мир в IX–X вв. и дело Кирилла и Мефодия, 1985). Дальнейшая история потрудилась, как могла, чтобы подорвать общее сознание этого единства. На результате сказались и роковые стечения обстоятельств, и усилия недоброжелателей. Подвижники времен Кирилла и Мефодия верили, что они работают во имя единства славян, просвещенных огнем единой верой. «Летить бо нынѣ и Словѣньско племѣ // Къ крещению обратишася вси», — как о том вдохновенно повествует «Азбучная молитва» (Лавров П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930). Какой порыв заключен в этих слогах — *племѣ — ныне — летит...* Это так же замечательно, как и многократно обыгрываемое в той же «Азбучной молитве» созвучие *слово* и *Словѣньско племѣ*, созвучие, как мы сейчас в этом уверены, отражающее научную этимологию имени славян. И как вместе с тем по-человечески понятна живая гордость этого первого поколения славянских просветителей успехами родного племени! Гораздо труднее понять тех авторов современных газетных статей, которые облюбовали именно цитату: «Национальная гордость — культурный стимул, без которого может обойтись человеческая культура» (см. ст. Кедрова К. в газ. «Известия» от 9 янв. 1988. и Гонионтова — там же, от 27 февр. 1988, с упорным повторением той же цитаты).

Уже очень скоро единство новой христианской религии славян было подвергнуто жестокому испытанию: раскол церкви расколол и славянство надвое — римско-католическое славянство, православное славянство. Рим, немало помогавший братьям Кириллу и Мефодию в их борьбе с немецкими епископами, как бы оказался в чужом стане. А сколько других расколов еще разрывали пополам душу и тело славянского единства! Казалось, тема единства должна была умолкнуть совсем. Но мы все же возвращаемся к ней. Как историка меня всегда интересует проблема единства старого и нового и вторая, не менее вечная проблема, вытекающая из первой: насколько новое — действительно новое, а старое — безвозвратно старое?

В IV веке христианство признается официальной религией в странах Римской империи. Почти тысяча лет ушла затем на то, чтобы христианизировалась вся остальная Европа — с юга на север и с запада на восток. Историкам религии известно, конечно, все в подробностях, но мне кажется, что у нас немногие

задумывались над тем обстоятельством, что из всех славянских народов Русь, оказывается, крестилась последней. Еще к VIII веку относят крещение Словении, Хорватия крестилась около 800 года, в первой половине IX века — Чехия, в течение IX века — Сербия и Болгария. Даже поляки, обитавшие тогда в стороне от больших дорог, крестились лет на двадцать раньше, чем Киевская Русь. Получается, что «путь из Варяг в Греки», с которым связывают введение христианства на Руси и который мелькает поэтому в нынешних юбилейных высказываниях, имел относительно более скромное значение, чем то, которое ему приписывают. Позже Руси крестилась лишь окраинная Скандинавия (как раз те самые «Варяги») и — что любопытно — близкая соседка Руси Литва (последняя — всего шесть сот лет назад). К концу X века, на который приходится крещение Руси, христианство понесло уже значительные утраты именно на Востоке, на близком к Руси Кавказе; постепенно переходит в ислам Абхазия, неподалеку от древнерусского Тмутарканского княжества, а от такой христианской страны, как Кавказская Албания, с обращением в ислам не остается ничего — ни культуры, ни государственности, лишь скудные следы в Ширване (Северный Азербайджан), о которых могут гадать специалисты. Православное христианство, таким образом, почти с самого начала существовало в условиях конфронтации с мусульманским Востоком, и славянское православие вынуждено было уступить турецкому исламу ряд своих позиций на Балканах — в области сербохорватского языка (Босния), в болгаро-македонской области. Случаи перехода русского населения из христианства в магометанство мне неизвестны.

Как все новое, христианство приживалось с трудом. И хотя киевский митрополит Иларион лет семьдесят спустя после крещения повествует об этом событии как о триумфе, действительность была и суровее, и сложнее. В Новгороде, обращенном в новую веру некоторое время после Киева и из Киева, разыгались настоящие уличные бои (Введение христианства на Русь. М., 1987, с. 113—114). Как и во всех новообращенных странах, в Древней Руси сначала крестилась правящая верхушка — князь и его приближенные, которые, естественно, были жителями городов, точнее — города Киева. Затем последовали рядовые горожане. Язычество, как и повсюду, отступило при этом в села и на окраины. Поначалу покрещенных, видимо, никак не называли (еще не успели назвать), позднее их стали называть словами *языческий*, *поганый*, но все же охотнее относили эти «нехорошие» обозначения к иноплеменникам-нехристианам и врагам Руси, а не к

своему народу. Свой народ уже считался весь христианским, что на деле было далеко не так, иначе откуда бы взялись волхвы, то есть языческим жрецам, которые не только существовали, но и сумели взбунтовать простой народ, и это — уже после митрополита Илариона. А слова *языческий* и *поганый* говорят сами за себя: *языческий* сначала значило «народный» (ведь *язык* — это также и «народ»), а *поганый* произошло из латинского *paganus*, что значило «окружной» (сравните «непрестижный» смысл наших современных слов *уездный*, особенно — *районный*), но уже в самом латинском языке *paganus* стало применяться для обозначения нехристиан, язычников. Так, прежнюю веру отцов, выраставшую как бы из земли, вечную и ниоткуда не пришедшую, «свою», сменила книжная вера, христианство, не сразу укоренившаяся даже в городах, а в села, оставшиеся долгие языческими, новая вера пришла еще позже. Но в языке постепенно обесцениваются все более или менее оценочные слова; когда масса простого народа стала официально христианской, само обозначение христианина тоже оказалось «сосланным в село», словно вслед за язычниками первых времен, потому что в своей народной форме — *крестьянин* — слово стало названием рядового земледельца. Случай этот довольно оригинальный, так как из всех языков народов, охваченных христианизацией, как будто только в русском обозначение христианина превратилось в обозначение землепашца, потеснив исконное славянское *селянин* (в украинском и белорусском крестьянин по-прежнему называется древним словом *селянин*). Что-то отдаленно напоминающее историю русского слова *крестьянин* произошло с аналогичным исходным обозначением во французском языке (*crétin* — «слабый человек, кретин, идиот»), в сущности — народная форма от латинского *christianus* «христианин»), и, само собой, там существует книжное слово того же происхождения *chrétien*, что означает «христианин».

У гонимого язычества путь был один — сначала на окраины Руси, потом — в уголки людских душ, в подсознание, чтобы там остаться, видимо, навсегда, как бы мы ни называли это — суевением, пережитками или пережитками пережитков, как бы мы ни игнорировали все эти виды двоеверия. Не считаться с ним — наирасное запятие, ибо в двоеверии открывается своего рода отрицательная преемственность, то есть единство культуры. Конечно, говоря о единстве русской культуры, мы подразумеваем более высокое содержание и более фундаментальную преемственность, имея в виду при этом не только (и даже не столько) успехи дохристианской Руси на политическом поприще и ее из-

вестность в других землях, чем по праву гордился Иларион Киевский, поминая в «Слове о законе и благодати» «старого Игоря» и «славного Святослава»: «не въ худъ бо и певѣдомъ земли владычествоваша. нъ въ рускъ. яже вѣдома и слышима есть. вѣми четырьми концы земли». Мы говорим о неразрывности культуры в понимании Джона Бернала («Наука в истории общества»), а именно: «Древняя культура влияет на современную через посредство перазывной цепи традиций, лишь последняя часть которой является письменной традицией». Таким образом, устремив вначале свои мысли к «тысячелетию русской культуры», мы отнюдь не хотели этим сказать, что русской культуре исполняется 1000 лет и — ни одним годом больше: это попросту невозможно. Историю русской культуры нельзя начинать с крещения Руси, как и выводить ее из Византии. Это можно делать, лишь не видя (или не желая видеть?) ее собственных корней. Отводя сразу упрек в голословности и одновременно выражаясь по необходимости кратко, я скажу о том, что понимаю под собственными корнями русской культуры: выработанную всем предшествующим славянским и индоевропейским языковым и общекультурным развитием систему достаточно высоких религиозных и этических понятий, выраженную в соответствующей исконной терминологии. Наугад взятая фраза из церковного богослужебного обряда — «сворим требу господеву и богови нашему» — вся состоит из еще языческих по своему происхождению терминов, как в общем верно сказано у известного нашего исследователя славянского и русского язычества Б. А. Рыбакова (Язычество Древней Руси. М., 1987, с. 227). Не на месте пустом и диком был выстроен величественный христианский храм.

Новая вера не только искореняла и истребляла все нехристианское, она умела проявлять гибкость, искать и быстро находить, на что опереться в старом сознании, в старом языке народа. Очень мудро был не отменен, но бережно использован прежний религиозный лексикон. Я думаю, что этот опыт древней христианизации вообще заслуживает изучения как удачный сам по себе, в противоположность всякого рода начинаниям более новых времен, которые как будто старались отличаться прежде всего переименованиями и введением новой терминологии, что всегда только отвлекает внимание от изменений по существу. Мне, конечно, могут возразить, что новая книжная вера принесла с собой лавину новой, греческой церковной терминологии, и все же это не самые частотные слова. Составители древнерусского словаря до XIV века подсчитали, что в древнейших русских более или менее светских (не богослужебных!) текстах не менее 10.000 раз

употребляется слово *бог* (по данным Картотеки Словаря др. яз. XI–XIV вв.), а слово *бог* было дохристианского, глубокоязыческого происхождения.

Даже без специальных подсчетов, думаю, позволителен вывод о ядерном, базовом и наиболее частотном употреблении терминов, взятых христианством у старого, дохристианского культа: *святой, вера, бог, рай, дух, душа, грех, закон* и некоторых других. Отныне то, что веками и даже тысячелетиями служило старой вере (а например, слово *бог* оформилось как религиозное, вероятно, под иранским влиянием еще в скифскую эпоху, то есть по меньшей мере за тысячу с лишним лет до крещения Руси), стало служить новой вере во Христа, в искупление и загробное блаженство.

Некоторые старые и тоже дохристианские термины, правда, при этом наполнялись – и даже «переполнялись» – новыми смыслами, причем по-разному в разных областях христианизированного славянства. Таково слово *закон* с его, видимо, первоначальной семантикой установления, регламентации поведения, обязательств, главным образом между людьми. Неудивительно, что старый смысл его был дополнен новым: «установление от бога», особенно – в ветхозаветном употреблении, сравните у много поминаемого ныне митрополита киевского Илариона, который противопоставлял ветхий закон и евангельскую благодать. У поляков слово подвергнуто дальнейшему приспособлению: *Stary Zakon* «Верхий завет», *Nowy Zakon* «Новый завет». Западное христианство посылало все новые импульсы, которые частью так и остались у западных славян, а к нам почти не дошли, например, польское *zakon* в значении «орден (монашеский)», *Zakon Krzyżacki* «орден крестоносцев» (на Руси и вообще в православии таких орденов, как мы знаем, и в помине не было!). На западных рубежах Украины еще можно встретить диалектное, гуцульское слово *zákín*, обозначающее причастие. Но все это – повшества, а наше слово *закон* и сейчас еще хранит свое более древнее значение.

Изображать, что смена религий прошла мягко и безболезненно, нет причин. Старые боги сами не уходили, их свергали, били, топили, о чем имеются исторические свидетельства. Трогательно, однако, что, при всей резкости, революционности смены язычества христианством на Руси, как и во всем славянском мире, сопровождавшейся разорением прежних святынь, идею святости и само слово *святой* уходящее язычество передало христианству. Прежняя вера только потом была изобличена как *суе-верие*, то

есть «напрасно-верие, тщетная вера», и древние наши предки-язычники сами себя и свою веру, разумеется, не называли *язычниками*, *язычеством*, *суеверием*, *поганством*. Все обличительное именованное родилось в борьбе, а раньше это, видимо, никак не называлось, но было сродни мудрости, вещему духу, доброму смыслу.

Выходит, единство было и ушло вместе с единоверием — древней верой-обожествлением всех сил природы, а победившее христианство оказалось ввергнуто в изнурительную и бесконечную борьбу с двоеверием, так никогда и не закончившуюся, поскольку никому не дано до конца изжить языческих лепих из наших лесов, а домовых — из наших домов. Но раскол прежнего единства высвечивает тонкие и вместе с тем прочные нити, которые продолжают связывать воедино всю русскую культуру.

Так, нельзя пройти мимо того курьезного факта, что новая христианская вера, уготовавшая рай только для собственных праведников-христиан (и, наоборот, ад — для упорствующих язычников), сама переняла слово *рай* у язычников-нехристиан. Дело в том, что, в отличие от европейских народов германского и латинского корня, славяне не заимствовали греческое название рая — *παράδεισος*! Зато — как бы для компенсации — слово и понятие «ад» пришло к нам вместе с христианством из Греции (*пекло* — тоже пришлое, не народное у нас название ада с его кипящей смолой). Нельзя отрицать наличие мрачных сторон в мировоззрении и практике язычества, особенно если взять жертвоприношения, в древности — даже человеческие. Но идея ада как искупления отсутствовала, ее принесло христианство. В другом месте я более подробно пишу о том, что *рай* у наших древних предков-славян означал расплывчатое широкое понятие загробного мира вообще, отделенного от мира живых водной преградой. Христианство, конечно, провело здесь строгую концептуализацию рая-вознаграждения и ада-воздаяния за грехи.

Неописуемо интересен культурно-типологически тот факт, что у большинства неславянских народов Европы все было в принципе наоборот. То ли по причине большей мрачности местных языческих культов (а о древних германцах это можно утверждать положительно), то ли в силу других специфических обстоятельств народным,дохристианским оказалось там как раз название ада — как первоначального обозначения низнего, подземного, потаенного мира (лат. *in fernum* и его продолжения во всех романских, немецкое *Hölle*, английское *hell*), а понятие и название рая в Западной Европе было заимствовано с приходом христианства из греческого. Во многом родственная

славянам Литва тоже пошла, скорее, по «западноевропейской» модели христианства: своим, исконным там тоже оказалось понятие и название ада — литовское *prāgas*, собственно — «жерло, пасть», а чужим — название рая (литовское *gōjus* «рай» — из славянского).

После сказанного, может быть, станет яснее тот многим известный и сердцем понятный феномен большей светлости и даже веселости нашего православного христианства и русской православной христианской архитектуры в сравнении, скажем, с католичеством Западной Европы и его храмами. Причина может корениться в том (как нам это теперь подсказывает язык), что духовной культуре древних славян была чужда мрачная идея посмертного возмездия.

Нередко даже в тех случаях, когда христианство привносило совершенно новое религиозное понятие, оно обращалось к существующему древнему лексическому и идейному фонду славян. Так, идея и образ душевного спасения и бога как душевного спасителя, очевидно, неизвестные дохристианскому, языческому мировоззрению, получили выражение в первоначально пастушеской, скотоводческой лексике древних славян: *спасти* (*съспасти*) — это ведь, в сущности, «пасти (домашний скот)», то есть первоначально «охранять и кормить», сюда же *спаситель* (*съспаситель*), в христианской письменности — об Иисусе Христе, также *спас* (*съспасъ*). Так передавалось при переводах гнездо греческого *σῶζω* «спасать», *σωτήρ* «спаситель», древнее исходное значение которых — «крепкий, здоровый телом», как и у латинского *salvator* «спаситель» (откуда названия Христа-спасителя в романских языках). Но уже в близких западнославянских языках Христос-спаситель носит название совсем иной природы — не из пастушеской терминологии, а из абстрактной лексики: польское *Zbawiciel*, собственно, «избавитель», наминает уже немецкое название спасителя — *Erlöser*, тоже буквально «избавитель, освободитель».

Давно было замечено, что, хотя официальное крещение Русь получила из Греции, Византии, ряд важных христианских слов и понятий пришел на Русь, вероятно, значительно раньше и притом — не непосредственно из Византии, а совершенно иными путями, с Запада. Именно оттуда, через германское посредство, получили мы слово *церковь*, распространившееся и в других славянских языках. Этимологически близкое название церкви живет во всех германских языках, в то время как латынь и большая часть романских предпочли другое греческое название для церкви: *ecclesia* собственно «созванное собрание (христиан)». И, как

это ни странно на первый взгляд, крещенная Византией Русь употребляла для понятий «крестить», «крещение» совсем не греческие слова, но вместе со всеми остальными славянами наши предки называли этот обряд словом, очень давно пришедшим с Запада, из области немецкого языка. Заимствованное оттуда, наше *крестить*, как и *крест*, восходит к германской, немецкой форме имени Христа. В греческом имеется совершенно другое слово со значением «крестить» — βαπτίζειν, собственно, «погружать, омачивать, окрашивать»; из него произошло и латинское baptizare «крестить», распространившееся в романском мире, но странным образом совершенно не известное славянам. Эти немногие, но важные примеры показывают значительность и древность западных культурных импульсов, формировавших самое знакомство всех славян с христианством и навсегда положивших свою печать на славянское христианство. И все же ни их, ни им подобных влияний на Древнюю Русь со стороны западных славян (см. о них: Никольский Н. К. Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры... Л., 1930) не стоит преувеличивать. Знакомство с христианством дошло до Руси с Запада, но крещение пришло на Русь с Юга.

Став внутрирусским явлением, крещение пошло дальше этим главным путем древнерусской культуры и цивилизации — от Киева к Новгороду (см.: Введение христианства на Руси. М., 1987). Если развивать эту мысль о магистральном пути русской культуры, то необходимо добавить, что и летописание подобно христианству пришло в Новгород не с Запада, а с Юга, из Киева (Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977). Непонятно поэтому, как могут до недавнего времени появляться высказывания вроде того, что «мы решительно ничего не знаем о христианизации Новгорода...» (Исаченко А. В. Если бы в конце XV века Новгород одержал победу над Москвой, с. 51, примеч. 3).

Итак, мы снова в Новгороде, после того, как был проделан немалый мысленный путь вспять к истокам русской и славянской культурной истории, письменной и христианской культуры в ее европейских связях. Позволительно, как путнику в конце пути, оглянуться на пройденное—передуманное, проверить, не упущено ли что из главного и даже не обязательно только главного. Бывают мысли-приложения и факты-приложения, способные в общей картине раствориться незаметно, а взятые порознь,—привлечь особое внимание, как потом выясняется, вполне заслуженное. Укажем и мы два таких совершенно различных факта,

или эпизода.

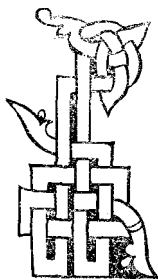
Обычно говорят о полифункциональности и престижности книжного языка, особенно, если в число функций входит богослужение, как в случае с церковнославянским на Руси. Этим всячески подчеркивается культурная отнесенность русского народного языка. Однако все гораздо сложнее, и в этой сложности и неоднозначности убеждает уже беглый взгляд на ономастику, прежде всего — на имена людей. В Древней Руси до крещения употреблялись, естественно, свои имена исконно славянского типа *Святослав, Ярослав, Изяслав, Осмомысл, Остромир*. Их народность, а также высота (княжеские имена!) стоит в неоспоримой связи с общенародным языком и помогает увидеть в дополнительном свете наддиалектность этого языка (высокий статус полных имен вроде *Ярослав!*). Все это не привлекало в нашей науке должного внимания, как и сами имена собственные, которые, например, в словари обычно не включаются. При этом как-то забывают, что имена — это тоже язык, язык и культура в своих, может быть, характернейших ракурсах. Ракурсах, которые могут объяснить многое в языке и культуре вообще. С введением греческого христианства было официально принято много греческих крестных имен. Но этот формальный акт натолкнулся на мощный традиционный народный узор, мощь которого состояла в том, что он действовал в самых верхах древнерусского общества. И, несмотря на то, что, как обычно считается, у православных русских возобладал христианский (в основном греческий) именник, нужно отметить большую стойкость и преимущественную употребительность (в официальной, деловой сфере, в летописях, документах, литературе) традиционных языческих рускославянских личных имен, например *Ярослав*. Ведь тот факт, что князь Ярослав Мудрый имел еще крестное имя Федор, всплывает только в настенной церковной погребальной записи о его смерти как о кончине мученика Федора и нуждается в расшифровке историка для идентификации.

Обнаруживается пробел в многофункциональности церковнославянского языка, во всяком случае такого его раздела, как именник. Церковнославянско-греческие личные имена в Древней Руси выполняли ограниченную (культовую) функцию, которой долго противостояла не менее высокая и явно более широкая роль традиционного народного древнерусского (великокняжеского) имени. Это один пример того, как полезно оказывается изменить трафаретный угол зрения на бесконкурентно якобы высокий статус церковнославянского языка.

В предыдущем изложении нас остро занимала культура до введения христианского культа, единство культуры в преемственности древних ее начал. Сюда относилась и проблема письменности до христианства. Некоторые формулировки звучат здесь заостренно дискуссионно, как кратко упоминавшаяся уже проблема литературного языка до введения письменности. Чуть ли не еще большим парадоксом покажется утверждение о существовании задолго до христианства на Руси, как и у остальных славян, терминов *буква*, *книга*, *писать*, *читать*. Ведь это уже терминология письменной культуры! Можно еще примириться с понятием литературного языка до письменности, имея в виду устную литературу, но конкретные термины письменной культуры до появления письменности! Тем не менее, это факт. Проще понять случаи, запечатлевшие проникновение к славянам отдельных заимствований из соседних языков и культур. Таковы слова *буква* и *книга*. Они оба, действительно, заимствованы, правда, очень давно, еще в праславянскую эпоху: *буква* — из германского названия букового дерева и дощечки из него, главным образом — дощечки с письменными знаками. Слово *книга* в столь же незапамятные времена, вне всякой связи с христианством, пришло с Востока и, как это бывает, первоначально обозначало не совсем то (или совсем не то), что мы называем книгой сейчас, что-то вроде «письмо, лист, покрытый письменами». В конце концов и наше исконное, древнее слово *читать* означало не то, что оно стало означать со временем, а скорее — «считать громко, вслух», как подсказывает его этимология. Но самое важное из всех слов, имеющих отношение к письменности, — слово *писать* — не только ниоткуда не заимствовалось, является исконно славянским, даже индоевропейским. А главное — оно всегда значило «писать», то есть не только «рисовать, писать красками» (сравните родственное слово *пестрый*), но и буквально — «писать знаки, которые затем можно прочесть, поняв их смысл» (ведь писались же бортовые знамена и гончарные клейма). Это безусловный парадокс, но парадокс замечательный и многозначительный для тех, кто ищет раскрытия древних культурных потенций. Тем более, что так было далеко не везде и не всегда, и другой, вполне естественный путь нам показывают немецкое *schreiben* «писать» — из латинского *scribere*, первоначально означавшего «царапать», а английское *write* сначала имело в виду только «царапать», а уже потом — «писать». Наконец, само греческое *γραφειν*, один из краеугольных камней всей европейской учености и культуры, тоже сначала имело смысл «скрести, царапать, делать зарубки».



В. В. КАЛУГИН,
кандидат филологических наук



кириллических древне- и старорусских текстах для обозначения числа 800 употреблялась буква ѿ («от»), а для обозначения 900 — А («юс малый»: см. рис., в тексте этот знак передается условно — А) или Ц («цы»). Кириллической азбукой буква Ц в значении 900 была заимствована из глаголического алфавита. Традиционно считается, что она появилась в русской письменности только во время так называемого второго южнославянского влияния. Так, Е. Ф. Карский в «Славянской кирилловской палеографии» (М., 1979) отмечал, что

Ѧ ("отъ") = 800	Ѧ ("юс малый") = 900	Ц ("цы") = 900 и ?
-----------------	----------------------	--------------------

«в русских памятниках Ц-900 встречается впервые в южнорусском Евангелии 1427 года, списанном с югославянского оригинала». В. Н. Щепкин в «Русской палеографии» (М., 1967) указывал, что на Руси «в эпоху югославянских влияний (а у южных славян еще ранее) «юс малый»... в значении 900 заменился знаком Ц (ср. глаголическое Ц=900)». В исследованиях Р. А. Симонова (Математическая мысль Древней Руси. М., 1977; Кирик Новгородец — ученый XII века. М., 1980) высказано мнение, что «только в конце XIV — начале XV в[ека] в связи с южнославянским влиянием на Руси в качестве 900 стал использоваться знак «цы» — сперва параллельно с «юсом малым», а затем вместо него».

В связи с этим представляют большой интерес два пергаменных кодекса, написанные в начале XIV века псковским дьяком Козьмой Поповичем вместе с другими писцами. В одном из них, Паремейнике (сборник, содержащий избранные места для чтения из ветхого завета), имеется точная дата окончания работы над рукописью. В другом, Шестодневе служебном, сообщается время случившегося солнечного затмения. В специальной литературе неоднократно обращалось внимание на то, что в обеих книгах Козьма допустил одну и ту же ошибку: он датировал происшедшие события на одно столетие позже.

На последнем листе Паремейника дьяк Козьма сделал следующую интересную запись: «В лето. г. ц.ка. [6921–5508=1418 год] кончаша быша книги си месяца мая в .31. [17] день на память святого апостола Андроника, единого от .6. [70], к святому мученику Пантелеймону [Пантелеймонов Дальний монастырь, позднее церковь.— В. К.], за .е. [5] върст. А стяженьье рабу Божию Радиона-черньча с Борисом. А псаны кѣнигы си при попе Григории. [далее стерто и замазано шесть или семь букв] и при игумене Радионе (бѣше бо тѣгда игуменомъ у святого Пантелеймона, а Борис бѣше перевозникомъ [перевозчиком через реку.— В. К.], а при архиепископе Давыде Новгородскомъ, при великомъ князи Михаиле, при князи Борису при Пльсковскомъ (том же лете въшъл в Пльсков, а на Горе [Счетная гора, близ Пскова.— В. К.] церковь почаша писати). А псал Козма-дьяк Поповицъ грабящима рукама, клеветливымъ языкомъ, обидливыми очима. А кде будетъ измятено, исправяче чтете, а не исправите, то вы на свою душу» (ОР ГИМ, собрание Синодальное, № 172, лист 202 В—Г). Содержание этого послесловия всесторонне рассмотрено в книге А. А. Покровского «Древнее псковсконовгородское письменное наследие» (М., 1916).

Н. М. Каринский в исследовании «Язык Пскова и его области в XV веке» (Спб., 1909) на основании упомянутых в приведенной записи Новгородского архиепископа Давида и великого князя Михаила Ярославича, деятельность которых приходилась на первую четверть XIV века, убедительно доказал, что Паремейник был написан не в 1413, а в 1313 году. На начало XIV века указывает и характер почерков рукописи. В связи с этим Н. М. Каринский отмечал: «Здесь мы имеем редчайшую, любопытную в палеографическом отношении ошибку в датировке памятника на столетие *позже*: вм[есто] 6821-го написан 6921 г[од]». То есть в своей записи Козьма Попович употребил букву Ц вместо ѿ.

В результате палеографического анализа псковских кодексов XIV века нами установлено, что дяк Козьма вместе со своим отцом, священником Андреем, и другими писцами переписал Шестоднев служебный (ЦГАДА, собрание библиотеки московской Синодальной типографии, № 76). В нем Козьма упомянул о взволновавшем, по всей вероятности, его событии: «В лето ̑. ѿ. к. [6920–5508=1412 год], месяца июля в .ѿ. [5], бысть знамение на небе в солнци: третья часть погыбе солнца, яко то обеднюю отпети» (лист 111 оборот). М. Б. Булгаков при проверке этой даты установил, что 5 июля 1412 года на Руси не было солнечного затмения. Оно произошло в тот же день, но на столетие раньше – в 1312 году (Советские архивы. 1972. № 4). Палеографические и языковые особенности Шестоднева тоже свидетельствуют в пользу 1312, а не 1412 года. Таким образом, и здесь дяк Козьма использовал вместо ожидаемой нами ѿ букву Ц.

В Прѣлоге (сентябрь – февраль), написанном для псковского Климентовского монастыря на Завеличье (городской район справа от реки Великой), также имеется запись Козьмы, датирующая рукопись. «В лето ̑ [6]... [остальные цифры стерты. – В. К.], индикта в ̑i. [11] кончаны быша книги си к святому мученику Климянту при попе Александре, при старосте Романе Кузове, при Микифоре Митрошкиници. А псал Козма Поповицъ, а чи буду кде помялся в своей грубости и пьянстве, отци и братья, исправяче чтете и Бога деля, а мене не кленете. Аминь» (ОР ГИМ, собрание Синодальное, № 239, лист 210б). М. В. Щепкина, Т. Н. Протасьева и другие исследователи считают, что Пролог был написан в 1313 году, так как именно с ним совпадает 11-й индикт (название года при летосчислении по пятнадцатилетним циклам). По-видимому, в рукописи большая часть даты смыта потемку, что в ней Козьма опять употребил для обозначения сотен букву Ц и один из средневековых читателей,

незнакомый с такой числовой системой, стер эту букву, а вместе с ней и последующие цифры как не соответствующие, на его взгляд, действительному времени создания Пролога — XIV веку.

Разумеется, ошибки в цифрах известны в средневековой книгописной практике. Некоторые из них рассмотрены в исследовании А. И. Соболевского «Славяно-русская палеография» (Сиб., 1908) и других работах. Однако объяснить приведенные факты лишь постоянными ошибками Козьмы, его невнимательностью, забывчивостью или тем, что дьяк неправильно выучил числовые значения отдельных букв, и тому подобными толкованиями было бы чересчур просто и неубедительно. Дело в том, что отец Козьмы — Андрей, «иоп Миклуинский», также занимался переписыванием книг. Можно предположить, что при псковской церкви даже существовал возглавляемый им скрипторий. Сам Козьма Попович — высококвалифицированный писец-профессионал. Переписанные им вместе с отцом кодексы представляют собой редкое явление не только великорусской письменности XIV века, но и вообще всей западноевропейской книжной культуры того времени. Очевидно, что постоянные «ошибки» дьяка вызваны какой-то другой причиной. Найти и объяснить ее можно только лишь обратившись к самим рукописям.

В Паремейнике 1312–1313 годов (листы 40г–41в) имеется родословие людей от Адама до Еноха включительно, живших до всемирного потопа. Оно было включено в текст Паремейника из Библии под названием «От Бытья чтени[е]». Наибольший интерес представляют помещенные в этом родословии хронологические выкладки. Согласно ветхозаветному тексту, Адам прожил «А. и .л.» [930] лет, Сиф — «А. и .vi.» [912] лет, Иаред — «А. и «.3в.» [962] года и т. п. В другом чтении этого же списка Паремейника о Ное говорится, что он жил «А. и «.п.» [950] лет (лист 57в). Итак, во всех приведенных примерах Козьма Попович последовательно обозначает число 900 с помощью «юса малого» (см. рис.). Точно такое же количество лет, прожитых Адамом, Сифом, Иаредом и Ноем, приводится и в «Острожской Библии», изданной Иваном Федоровым в 1580–1581 годах.

В то же время о Малелеиле, сыне Каинапа, в Паремейнике сообщается, что он жил «п. и .е.», казалось бы, 905 лет. Но ведь в одной цифровой системе параллельное употребление «юса малого» и «цы» в одном значении вряд ли возможно: они обозначают одно и то же понятие — 900. Причем, согласно широко распространенной точке зрения, Ц с числовой семантикой 900 начинает использоваться в старорусских памятниках письменности только

в период второго южнославянского влияния. Между тем Паремейник был написан задолго до его начала.

В таком случае логично предположить, что «юс малый» и «цы» применялись псковскими книжниками XIV века для обозначения *разных чисел*. Прямое указание на это находится в хронологических выкладках Паремейника. В них упоминается, что в возрасте « $\bar{p}$. и $\bar{z}$ e.» [165] лет у Малелеила родился Иаред. После рождения сына Малелеил жил еще « $\bar{f}$. и $\bar{l}$.» [730] лет. Как отмечалось выше, всего Малелеил прожил « $\bar{c}$. и $\bar{e}$.» лет. Но ведь $165+730=895$, а не 905! (Десятки – 90 – в тексте пропущены, однако сотни, самое главное, обозначены правильно.) Кроме того, в «Острожской Библии» также сообщается, что «бысть всех днии Малелеиловых лет и сот и че», то есть 895, а не 995 лет. Следовательно, в цифровой системе некоторых средневековых памятников письменности для обозначения числа 800 могла употребляться буква Ц, а для обозначения понятия 900 – «юс малый». Обе эти буквы передавали особые звуки древнеславянской речи, отсутствующие в греческом языке, в то время как буква «от» была заимствована славянской азбукой из византийского алфавита.

На существование такой цифровой системы косвенно указывает еще один источник. Б. Н. Морозов опубликовал по копии XVIII в. жалованную грамоту рязанского великого князя Михаила Ярославича рязанскому епископу Василию (Археографический ежегодник за 1987 год. М., 1988). Судя по историческим реалиям, этот документ был написан в 1303 году. Между тем в изданном позднем списке он датирован 6911 (1403) годом. Такая ошибка (смещение семантики Ц и ѿ) в великокняжеской грамоте выглядит очень странно. Не исключено, что в несохранившемся оригинале, с которого в XVIII веке была сделана копия, буква Ц вместо ѿ служила для выражения понятия 800.

Итак, есть все основания полагать, что дьяк Козьма Попович не ошибался каждый раз в записях (как считают многие исследователи) на сто лет. Напротив, псковский писец приводил правильные даты, используя, однако, букву Ц в редком числовом значении 800.



В старину предметы быта, предназначенные для хранения в них одежды, продуктов, причем самых различных — сыпучих, жидких, вязких и др., всевозможных товаров, даже драгоценностей, назывались одним общим словом *посуда*. Познакомимся с названием плетеной посуды в обиходе древнего русича, имевшей самое широкое и разностороннее назначение. Многие из этих наименований уже утрачены, как и сами реалии, сведения о них сохранили лишь памятники письменности; кое-что донесли до нашего времени говоры, где эти слова и сами предметы продолжают жить, а некоторые из них и сегодня нам хорошо знакомы и составляют часть нашего быта.



Назвался груздем — полезай в кузов

Г. В. СУДАКОВ,
доктор филологических наук

Народная мудрость гласит: «Назвался груздем — полезай в кузов». А какие были кузова в старину? Представление о них можно сейчас получить, если походить и поездить по русским дерев-

ням, порасспрашивать стариков, заглянуть в амбары и на чердаки изб. А если заглянуть в глубь веков? Памятники письменности хранят сведения о различных типах корзин, лукошек, коробов, кузовов, пестерей и т. п., а также яркие и выразительные названия этих предметов.

Начнем с *короба*

Короб — общеславянское слово, так называли плетеную или выгнутую из луба, дранки большую корзину округлой формы, с крышкой. В таких корзинах возили одежду, продукты, различные товары, даже ящик или кузов для перевозки древесного угля тоже именовали *коробом*. Во времена Московской Руси изредка использовали металлические *короба* или *коробки*. Заметим, что коробки для денег и бумаг оковывали полосами железа, их снабжали пробоями и замками и чаще называли *ларцом* или *шкатулкой*. Металлические коробочки могли служить сосудами для напитков.

Кошь — образовано от очень древнего корня *коз-/кез*, имевшего значение «скрести, чесать». Это своего рода приспособление для сгребания, срывания, собирания ягод, плодов и т. п. В древнерусский период плетеный *кошь* чаще всего служил для хранения хлеба, и в современных говорах сохранилось название *кошь*, *кошница* — корзина для хлеба, муки, мельничный ковш. Родственное им *кошель*, но назначение кошель на разных территориях не было одинаковым. В вологодских и тихвинских местах *кошель* — это плетеный *короб* для платья, в то же время в районах между Тихвином и Великим Устюгом так называли большие корзины для сена. Существовали *кошели* — сосуды (из луба, бересты или лыка) для черпания и переноски воды. Водоносные *кошели* сохранились еще в XVIII веке, позднее их окончательно заменили ведра.

Плетёница, *плетёник* — эти названия ни в старину, ни в современных говорах за плетеными изделиями не закрепились. Другое дело — *лукошко*, *лукино*. Древнерусское *лукино* восходит к глаголу *луčiti* — «гнуть, связывать» и является одним из первых славянских названий плетеной посуды. Северные говоры сохранили это слово до наших дней. А название *лукошко* впервые отмечается в Псковской судной грамоте по списку 1467 года. Лукошки были и весьма вместительными: в них помещалось до пуда зерна, соли, съестных припасов, разных товаров. В домах московской знати в донатоуальный период лукошками называли плетеные

из серебра и жести коробки. Крестьяне же выходили с лукошками на весеннюю папню для сева (в Рязани их называли *севальниками*). В некоторых говорах сохранилось название *крошня* (по текстам известно с 1499 года). На южных соляных промыслах лубяное лукошко служило черпаком и называлось *садовница* (от *садиться, оседать*).

Зобницы — лукошки, в которых давали корм лошадям. В древнерусском языке *зоб* имело значение «еда, корм». В древнем Пскове зобницами мерили зерно и хмель.

Хорошо известное нам слово *кузов* — тоже от *зоб, зобать*, поэтому вначале кузовом называли только корзины для корма. *Кузов* впервые фиксируется в переписной книге Водской пятины 1500 года, это сравнительно поздно. В Древней Руси бортники так называли плетеные ульи, устанавливаемые на деревьях. Мастерили и кузова-ловушки для птиц. Затем слово перенесли на плетеные ручные вместилища для разных хозяйственных нужд. *Кузов* в значении «плетеная корзина для переноски чего-либо, для сбора ягод и грибов» вначале упоминается только в новгородских и белозерских источниках, затем распространяется по всей России. Уже в XVII веке были записаны такие пословицы: «Не поклоняйся грибу до земли, не поднять его в кузов»; «Назвался груздем — лезти в кузов». В Великом Устюге *кузовами* называли заплечные короба торговцев мелкими товарами: «Устюжанин Василий Платонов Ковригиных пошел в Устюжской уезд на Юг с кузовом, с собою понес всякого мелочного товару и продал в волости на 6 рублей» (таможенная книга Великого Устюга 1676 г.).

Слово *пестерь*, наблюдаемое в письменности с 1598 года, вероятно, заимствовано из финно-угорских языков. Впервые оно замечено в белозерских актах, а также в памятниках письменности, связанных с Вологдой, Великим Устюгом, Холмогорами. *Пестерь* — кузов из луба или дранки для хранения и переноски разных предметов. В начале XVIII века пестерь осознается как предмет крестьянского быта, а его название — как простонародное. Пестери известны на севере и в Сибири, это высокие плетеные корзины для переноски травы, сена и мелкого корма скоту, в них держат шерсть, пеньку, с ними ходят по грибы и ягоды, носят пестери чаще на спине. Во владимирских и рязанских деревнях их называют *пецерьями*. Известно еще архангельское слово *бехтерь* — «корзина для переноски мякины».

Наиболее ясное происхождение имеет слово *корзина* (может быть, от *корзять* — обрубать ветки, снимая кору). Первоначальное употребление слова только в северо-западной части рус-

ской территории позволяет с доверием опрестись к версии об общем источнике с латышским *kuģa* «корзина». Первая письменная фиксация слова относится к концу XVI века: «Куплена корзина в кузницу уголь посить» (из прихода-расходной книги Тихвинского монастыря 1592 г.). По территории распространения (в основном — Тихвин, Устюжна, Белозерск, единично — Москва и даже Астрахань) слово *корзина* вначале сильно проигрывало семантически близким обозначениям *лукошко*, *кузов*, *пестерь*, лишь с конца XVIII века оно начинает активно внедряться в литературный язык.

Лубъ, лубянка, лубень, лубокъ

Теперь обратимся к плетеным и шитым вместилищам для хранения жидких и сыпучих веществ. Мы уже говорили о водоносных кошелях. Один из основных материалов для изготовления таких емкостей — луб, отсюда и их названия: *лубъ*, *лубянка*, *лубень*, *лубокъ*. Представляли они собою короба из луба, которые служили тарой и мерой для сыпучих и влажных продуктов. Местом их изготовления и использования в старой Руси была западная часть севернорусской территории: луб — на Валдае и в Старой Руссе, лубень — в районах от Тихвина до Великого Устюга, лубянка — на Валдае и по реке Свири, а позднее — во многих северных и среднерусских областях. А вот что держали в лубяной посуде: «Куплено дватцат четыре луба в чом яблока весть» (из расходной книги Иверского Валдайского монастыря 1668 г.); «На тое икру куплено две лубянки дано шесть денег» (из расходной книги того же монастыря 1664 г.); «Патракеев с товарищи продали мяса свиного, лубней лукошков, портков на 30 р.» (из таможенной книги Великого Устюга 1676 г.); Богдан Иванов Вольской явил на возу 8 лубокъ меда» (из таможенной книги Смоленска 1675 г.). По современным диалектным данным, *лубок* «лукошко» употребляется в псковских и брянских местах, *лубка* «корзина» — в смоленских, псковских, повгородских, великолукских, калининских. В говорах есть и другие наименования лубяных посудин: *лубенник*, *лубѣха*, *лубѣшка*, *лубня*, *лубочек*, *лубочка*, *лубошка*, *лубяна*, *лубянушка*.

По материалу получил название и *берестень* — сосуд из бересты или глиняный горшочек, обвитый берестой: «Купил на Москве масла берестень дал 3 алтына» (из прихода-расходной книги Иосифо-Волоколамского монастыря 1574 г.). Такая посуда была известна почти на всей русской территории и в Белорус-

сии. Сейчас берестяные сосуды и горшки, обтянутые берестой, в говорах называют *берестнями*, *берестяниками*, *берестянками*.

По технологии изготовления получил имя *пошев* (от *пошить*). Пошев представлял собою лубяной короб, сшитый мочалом, иногда он снабжался крышкой, половинка которой откидывалась. В пошевах возили икру и муку, соль, прочие сыпучие продукты, часто они выступали в роли мерного сосуда. В наши дни пошев можно увидеть только в дальних ярославских и архангельских селах.

На севере были широко распространены *бураки*, причем вид и назначение их в разных областях были неодинаковы. В северо-западной зоне (от Валдая до Холмогор) *бураками* называли большие короба и кузова из бересты и луба, в которых возили уголь, дрова и вообще крупные предметы, а также носили сено и мякину. В северо-восточной зоне (от Вологды до Великого Устюга и Костромы) *бураки* — это берестяные и лубяные сосуды с деревянным дном и крышкой, в которых хранили сухие и жидкие продукты.

Небольшие круглые берестяные сосуды для жидкостей или других веществ называли также *туесами*, они всегда имели крышку. *Туес* — угро-финское заимствование; иногда, как и слово *бурак*, его соотносят с тюркскими элементами. Туес был гораздо меньше бурака, вмещал до четверти ведра. Находимые при археологических раскопках древнерусские туески выглядят как цилиндрические сосуды высотой около 20 сантиметров, с деревянным дном и крышкой, снабженной дугообразной ручкой. Их стенки состоят из двух берестяных цилиндров: внутреннего и наружного, причем внутренний цилиндр — бесшовный. Обратимся к примерам из письменных источников: «Купили туес устюжской дали алтын» (из прихода-расходной книги вологодского архиерейского дома 1607 г.); «молоко возить купили туюс» (аналогичная книга 1648 г.); «Куплено для страдного времени работным людям квас держать туес берестяной новой» (из прихода-расходной книги Онежского монастыря 1688 г.). Первоначально слово употребляется в памятниках Северо-Восточной Руси и Сибири, к концу XVII столетия доходит до Москвы. В наши дни туески можно встретить в основном в севернорусских и сибирских селах.

К корзинам относят также зинбель и рубушу. *Зинбель* — персидское название. В зинбелях в старину возили икру и краски, а также фрукты. *Зинбель* или *зембель* — так называют корзины из мягких прутьев в воронежских и волгоградских селениях. *Рубуша* — северное слово, оно обозначает коробку, свернутую из

куска бересты и прошитую тонкими прутиками. Известно лишь в Олонце и Онеге.

Названия плетеных вместилищ в русском языке — древнее славянское наследие. Заимствования в этой группе редки, они отражают контакты русских с соседними народами, в быту которых была представлена домашняя утварь из бересты, луба и дранки, сходная с русскою посудой.

Мешки и сумки

Значительную группу домашней утвари составляли вместилища из кожи и ткани — мешки и сумки.

У древних славян были *мехи* разного назначения: кожаные — для жидкостей и сыпучих веществ, из кожи и ткани — для хранения разных предметов, в том числе драгоценностей, денег и бумаг. О таких мехах сообщают древние письменные источники, например, в «Слове Даниила Заточника» приводится старая поговорка: «Какъ во утель мехъ вода лити, тако безумнаго учити». В столовом обиходнике 1648 года из Великого Новгорода рассказывается о церемонии приема царя: «Подносятъ государю царю в мехах квас медвяной». А вот пример из живой речи: «Посол, господине, что мех: что в него положут, он то и несет» (из записей посольских речей в 1649 г.).

Особенно были распространены мехи для хлеба и соли, которые шились из рогожи. Их уже зачастую называли *мешками*: «Дениска перекинул на двор через забор мех з борошнем и он де Васка тот мешек взяв на дворе принес ко мне» (челобитная из Якутска 1640 г.). Слово *мешок* возникло как уменьшительное к названию *мех*, но значение уменьшительности вскоре утратилось, *мех* в указанном значении стало употребляться все реже, родилась новая форма *мешочек*. Но надо помнить, что именно первоначальное отличие кожаных мехов от мешков из ткани и послужило причиной семантического расподобления слов *мех* и *мешок*, хотя первое время эти названия могли употребляться применительно к одному и тому же предмету. Есть и другие случаи непривычного для современного человека употребления отдельных названий в исторических документах. Так, денежные карманные кошельки называли первоначально *мешками* или *мешочками*, поскольку наименования *кошелек* в языке еще не было, но добавляли: *мешочек зепной* (от *зепь* «карман»): «Из подголовка вынесли денег 40 рублей до зепной мешечикъ, а в нем было денег рубль» (из арзамасского судного дела 1698 г.).

Функции вместилища могли выполнять также рогожные мешки и кули. Слова *рогоза* и *рогожа* употребляются, вероятно, с общеславянской поры. *Рогожей* называли и плетеную подстилку из мочала, и куль из рогожи. Разновидности рогож получали способом изготовления: *лапотница*, *циновка*. Оба слова были характерны для московских и рязанских мест, причем *лапотница* — это грубая толстая рогожа, а *циновка* — тонкая. На севернорусской территории использовались *плотные матицы*. А еще были *рогожи завитухи*, *вязеницы*, *тартовки*, *решмы*, *подстилы*, *шуйки*, *полуторницы*, *чюрошницы*, *подержжки*, *мещерки*.

Мешок из грубой ткани мог называться *вретищем* или *веретищем*. *Веретищем* именовали и рогожное полотно. *Вретище* известно с XI века, а восточнославянское соответствие *веретище* отмечено несколько позднее в берестяной грамоте из Новгорода: «Вывези ми 2 медведна да веретища да попонь». Веретища были особенно распространены на северо-западе и западе России. Сравнительно поздно в письменности упоминаются *кули* — с 1606 г. *Куль* — это рогожное вместилище для зерна и других сыпучих товаров. Первые употребления слов *куль* и *кулек* зарегистрированы в севернорусских текстах: «Под крупы и горох купил 6 кулей рогозивных» (из расходной книги Кирилло-Белозерского монастыря 1606 г.); «Привез кулекъ кремения, ставок масла деревяного» (из таможенной книги Тихвинского монастыря 1609 г.). Постепенно в языке устанавливается такое различие: *мешок* — холщовое вместилище, *куль* — рогожное вместилище, *рогожа* — плетенное из мочала полотно. Таким образом, новое слово появилось очень кстати, оно устранило многозначность слова *рогожа* и сделало более конкретной семантику слова *мешок*.

Мешки из дерюги или риднины в рязанских и подмосковных местах носили название *воспище*, да и саму грубую ткань, употребляемую в качестве подстилки при сушке или перевозке, именовали так же.

А вот и редкие названия мешков: *каль* или *калья*, заимствованное из восточных языков и обозначающее тару определенного объема для перевозки краски; *тулук* — мех для хранения жидких и сыпучих веществ (ср. варианты: *тулуп*, *тулун*); *басмаг* или *басман*. Все эти восточные названия кожаных мешков русские часто заменяли словом *пузырь*.

Подобные изделия, по меньшему (по сравнению с мешками и кулями) объема получили названия *сума*, *сумка* — немецкое заимствование через польское посредство. Вероятно, так вначале называли только переметные сумки, кожаные или спитые из ткани, которые перекидываются через седло и висят по бокам

лошади. Во второй половине XVII века эти слова уже расширяют свое значение.

Из тюркских языков было заимствовано слово *чемодан* — с начала XV века. Первые чемоданы — это тоже сумки, чаще переметные, для хранения платья или других вещей. Так в языке на узком смысловом пятачке столкнулись два разных слова. В конце концов сумки, приторачиваемые к седлу, стали называть *переметными сумками* в отличие от всех прочих, а чемоданы приобрели особую форму и другие специфические признаки, совершенно отличающие их от мягких сумок, легко меняющих свою форму в зависимости от очертаний предмета, помещаемого в них. Правда, в старорусском языке чемоданом некоторое время называли футляры из кожи или ткани для драгоценностей, книг и денег.

Визаные сумки, входившие в воинское снаряжение, иногда называли *вязнями*, но *вязня* могла обозначать любое вязаное вместимлице: «вязня сафьянная з заряды» (из описи имуществ Татищева 1608 г.); «в вязнях 10 алтын денег за зеркало з гребнем» (из описи имущества казака XVII в.); «10 ложек каповых, из них 2 ложки в вязнях» (из описи имущества 1675 г.).

В начале XVII века на северо-западе России появляются *шалгуны*. Это особый тип сумок, распространенный у финнов и карел: соединенные парой помочей и перекидываемые через плечо суконные или холщовые мешки, в которых брали в лес съестные припасы.

Из древнерусского периода перешли в наши дни названия *тобола* и *торба*. Они были усвоены из тюркских языков, широко употреблялись во времена Великого Новгорода, обозначали дорожные сумки. В современном русском языке являются архаизмами.

Небогат был скарб у простого русича, нехитрой была и утварь у пегэ в доме, но пословицы — кладезь народной мудрости — хранят мечту о достатке: *Не короба в крошнн, из терема е овин; Давно торба кошелем стала; Были бы деньги, а мешки будут; Худо жить тому, кому послал бог суму; Поправился из кулька в рогожку.*

Вологда



ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС РУССКОГО ЯЗЫКА



Еще в 1986 году вышел в свет «Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Выпуск I. Вступительные статьи. Справочные материалы. Фонетика» под редакцией члена-корреспондента АН СССР Р. И. Аванесова и кандидата филологических наук С. В. Бромлей. В печати находится Выпуск II. Морфология. и Выпуск III. Синтаксис. Лексика. Диалектологический атлас русского языка (ДАРЯ) — капитальный труд по лингвистической географии, итог многолетней (около 30 лет) деятельности большого коллектива ученых — завершает целый этап в развитии русской диалектологии.

Известно, что территория распространения русского языка огромна, при этом говоры разных ее частей различаются как своей историей, так и условиями бытования. В ДАРЯ входит территория древней (т. е. не позднее XV в.) русской колонизации, где исторически складывались основные наречия русского языка.

В сборе материалов для атласа принимали участие практически все вузы на территории Европейской части РСФСР, имеющие кафедры русского языка. Богатейший материал (в атласе представлены говоры 4195 населенных пунктов, находящихся друг от друга на расстоянии примерно 15 км) был собран за сравнительно короткий срок: в основном с 1949 по 1965 гг. Таким образом, материал, на котором построен атлас, отражает русские говоры середины XX в.

Атлас запечатлел речь старшего поколения крестьян, главным образом, женщин, которые, как правило, никуда не выезжали из своей деревни и потому лучше сохранили черты старого произношения. Такой отбор материала определялся основной задачей атласа — получить сведения для истории языка. В то же время диалектная речь содержит и такие особенности, которые развились достаточно поздно и показывают современные процессы в говорах. Это учитывалось при сборе материала для ДАРЯ: речь каждого информанта (собеседника) фиксировалась полностью, записывалось и то, что является специфически диалектным, и то, что совпадает с особенностями литературного языка. В результате карты атласа позволяют изучать говоры во

всей полноте: в их взаимоотношении и друг с другом, и с литературным языком.

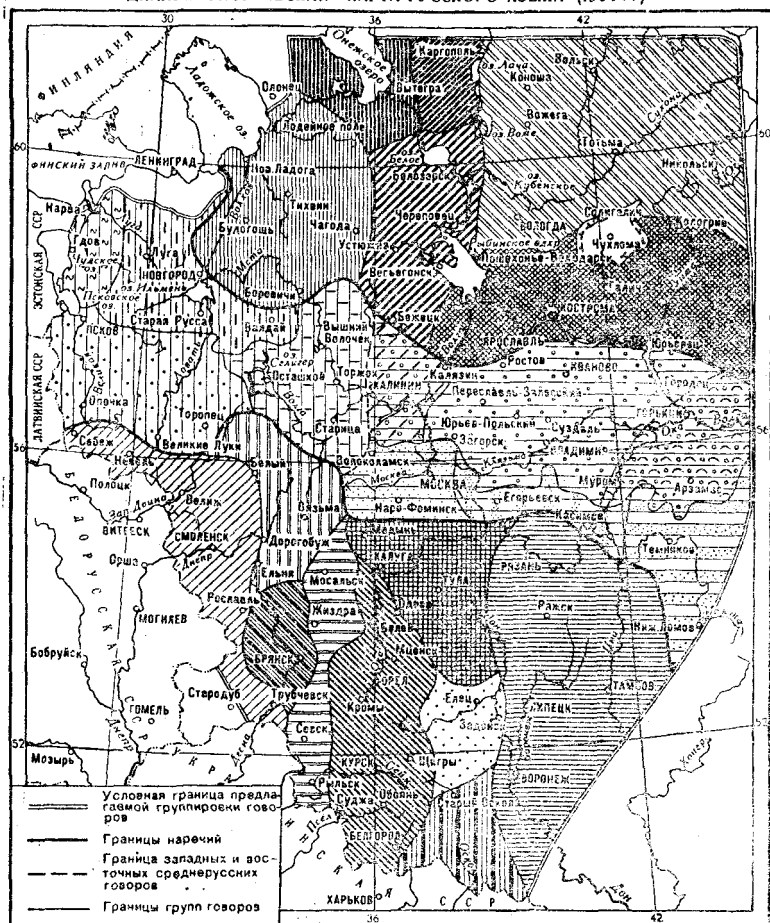
Диалектологический атлас русского языка является воплощением оригинальной теории лингвогеографии, созданной Р. И. Аванесовым. В соответствии с выдвинутой теорией, русский язык в его говорах («диалектный язык», по терминологии Р. И. Аванесова) рассматривается как сложная система или система систем, в которой одни звенья являются постоянными — черты, общие для литературного языка и говоров, другие — вариативными, т. е. представленными в говорах неодинаково (например, [г] или [γ] в словах типа *гусь, град, город, огонь, огурец* и др.; [ш'ш'] или [ш'ч'], или [шч], или [шт], или [ш'т'] в словах типа *щука, ящик, ищу, вещи* и др.). Вариативные звенья образуют диалектные различия, которые и составляют предмет картографирования в русском атласе.

В соответствии с предложенной теорией были разработаны методика и техника картографирования. Основным требованием техники картографирования, применяемой в атласе, является строгое соответствие структуры обозначающего структуре обозначаемого: на каждой карте атласа с помощью системы условных обозначений выражена структура диалектного различия, которому посвящена карта, с выявлением всех многосторонних связей и взаимозависимостей между его членами. В результате яркие красочные карты наглядно представляют все основные диалектные различия русского языка в их материальном воплощении. Всего в I выпуске дано 92 карты, на которых показана территория распространения фонетических явлений. Лингвистическая информация каждой карты может быть соотнесена с населенными пунктами, к которым эта информация относится, путем наложения на лингвогеографическую карту кальки с номерами населенных пунктов.

В атласе помещена карта «Диалектное членение русского языка». Эта карта позволяет увидеть, что все говоры русского языка по сходствам и различиям между ними объединяются территориально в большие группы — наречия (севернорусское и южнорусское), каждое из которых в свою очередь подразделяется на более мелкие единицы — группы говоров. Говор каждого населенного пункта относится к какой-либо группе говоров и одновременно входит в более крупное объединение — наречие. Так, например, одни говоры входят в Вологодскую группу севернорусского наречия, другие — в Рязанскую группу южнорусского наречия, третьи — в Псковскую группу среднерусских говоров и т. д.

В атласе даны четыре исторические карты, которые позволя-

ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РУССКОГО ЯЗЫКА (1964 г.)



Данная карта составлена Н.Ф.Захаровой и В.Г.Орловой. Впервые опубликована в книге "Русская диалектология" под редакцией Р.И.Афанасьева и В.Г.Орловой (Москва, 1964г.)

СЕВЕРНОЕ НАРЕЧИЕ



Ладого-Тихвинская группа



Вологодская группа



Нижгородская группа



Онежская группа

Лачские говоры

Белозерско-Бемелские говоры

Межзональные говоры
северного наречия

ЮЖНОЕ НАРЕЧИЕ



Западная группа



Верхне-Днепровская группа



Верхне-Деснинская группа



Нурско-Орловская группа



Восточная (Рязанская) группа



Межзональные говоры типа „А“ южного наречия



Тульская группа



Елецкие говоры



Оскольские говоры

Межзональные говоры типа
„Б“ южного наречия

СРЕДНЕРУССКИЕ ГОВОРЫ



Западные среднерусские говоры



Новгородские говоры



Гдовская группа



Псковская группа



Селигеро-Торжокские говоры

Западные среднерусские
окающие говоры

Западные среднерусские
анающие говоры



Восточные среднерусские говоры



Владимирско-Поволжская группа



Наличинская подгруппа Владимирско-Поволжской группы



Горьковская подгруппа Владимирско-Поволжской группы

Восточные среднерусские
окающие говоры



отдел А



отдел Б



отдел В

Восточные среднерусские
анающие говоры



Говоры Чухломского острова

ют сопоставлять лингвогеографические данные с данными истории: 1) Расселение славянских племен и их соседей в X веке (по материалам археологии); 2) восточные и юго-восточные древнерусские княжества в середине XII века; 3) Северо-восточная Русь и ее соседи в середине XIV века; 4) Народы центра Европейской части СССР.

Книга сопроводительных статей содержит общие сведения о «Диалектологическом атласе русского языка», относящиеся ко всем трем выпускам, «История создания русского лингвистического атласа» (С. В. Бромлей), «Теоретические основы русского лингвистического атласа и его карты» (С. В. Бромлей), «Из истории формирования русских диалектов» (Р. И. Аванесов), «Состав Диалектологического атласа русского языка», сведения о населенных пунктах. Основную часть книги составляют сопроводительные тексты к картам I выпуска атласа («Фонетика»). Здесь же приводится «Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка. Фонетика».

ДАРЯ предоставляет исследователям огромный, во многом новый материал. Интерпретация этого материала не только послужит базой для работы по диалектологии и истории русского языка, она будет иметь большое значение и в исследованиях по общему языкознанию. Возможности интерпретации данных атласа связаны не только с тем, что эти данные очень значительны по объему, они обусловлены самим построением карт.

Каждая карта атласа представляет собой одновременно структурную и лингвогеографическую картину того вариативного звена системы, которому она посвящена, а весь атлас в целом воплощает одновременно структурную и лингвогеографическую картину русского диалектного языка в его основных чертах. Эта специфика русского атласа делает его уникальным источником для разработки самой широкой проблематики, относящейся и к описательной диалектологии (описание основных элементов структуры диалектного языка, типологическое сравнение говоров, разного рода группировки и др.), и к исторической.

Карты атласа показывают сложную лингвогеографическую картину русского языка, в которой отражен сложный путь развития русских говоров. В то же время они позволяют получать информацию о каждой частной диалектной системе (говоре) в объеме всех тех языковых особенностей, которые представлены в атласе. «Отдельные частные диалектные системы, равно как соотносительные, территориально варьирующие элементы их структуры (например, применительно к русскому языку, типы аканья, результат разного развития *ѣ* и т. д.), выстроенные в один

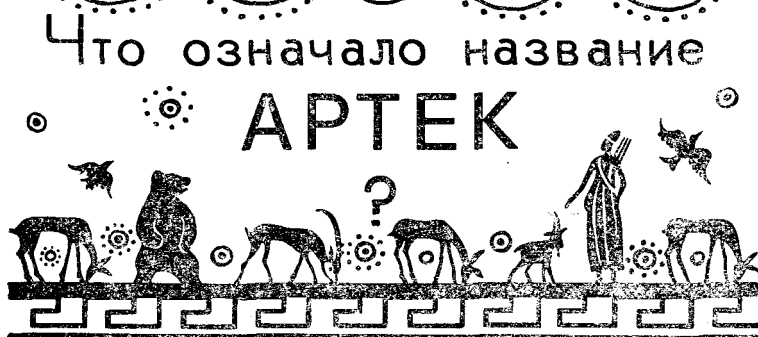
ряд, сосуществуя на территории, в то же время представляют собой именно историю языка в ее пространственной проекции, так как обычно представляют собой отдельные звенья определенных цепных языковых процессов» (Аванесов Р. И. Русская диалектология. М., 1964, с. 24). Таким образом, ДАРЯ — наряду с памятниками письменности — представляет собой один из важнейших источников для изучения истории языка, истории отдельных языковых явлений и истории структуры диалектного языка, истории диалектов (их возникновения и развития).

Значение данных атласа особенно велико в связи с самой спецификой отраженного в нем материала. Говоры, в отличие от литературного языка, существуют только в устной форме и потому их развитие, не связанное жесткой традицией, протекает более свободно. В связи с этим в говорах больше сохраняется архаизмов (например, особые звуки на месте старого *ѣ* и на месте *о* под восходящим ударением и др.) и больше появляется новообразований, которых нет в литературном языке (напр., [e] в соответствии с ударенным *а* литературного языка между мягкими согласными: *п[е]тъ, з[е]тъ, м[е]чик* и т. д.; редукция гласных до нуля звука: *[пг]олѣк, [ср]афѣн, ѣ[гд]ы* и т. д. и др.). Все эти факты позволяют изучать не только прошлое русского языка, но и прогнозировать будущее.

Данные атласа представляют важные сведения для истории народа, носителя русского языка, так как территориальное распространение диалектных различий отражает путь, пройденный самим народом. Значение атласа возрастает и в связи с тем, что огромное количество населенных пунктов, представленных в нем, сейчас уже не существует, а вновь оживающие в результате заселения их жителями других территорий, представляют совершенно иную лингвистическую ситуацию. Таким образом, ДАРЯ остается единственным памятником живого русского языка в форме его говоров обширной территории древнейших русских поселений.

Диалектологический атлас русского языка как богатейший источник сведений о русских говорах будет интересен и полезен лингвистам очень широкого профиля, преподавателям вузов, аспирантам и студентам, преподавателям школ (особенно в условиях диалектной среды), работникам краеведческих музеев, историкам, археологам, этнографам и всем, кто любит русский язык, интересуется его современным состоянием и его историей.

Н. Н. Пшеничнова,
кандидат филологических наук



В. А. БУШАКОВ,
действительный член Географического
общества АН СССР

Находящийся в благодатном Крыму всесоюзный пионерский лагерь «Артек» известен во всем мире. Значение же слова *Артек* пока остается невыясненным.

В первом опубликованном списке крымских деревень 1783 года (Известия Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь, 1888. № 6) название *Артек* вообще отсутствует.

В «Списке населенных мест Российской империи» (Симферополь, 1865. Т. 41: Таврическая губерния) название *Артек* носят четыре имения (дачи):

- 1) *Артек*, или *Джин-Сарай*, при безымянном источнике;
- 2) *Артек* на берегу моря, при подножии *Аюдага* («*Медведь-гора*»);
- 3) *Артек*, или *Наутербрун* (ср. нем. Natterbrunn «Змеяный источник»), при безымянном роднике;
- 4) Еще один *Артек* при безымянном роднике.

В. Х. Кендараки в первой части своего «Универсального описания Крыма» (Николаев, 1873) привел второе название одной из этих дач: *Кардиатрикон*. Это древнегреческое слово переводится как «излечение (или утешение) сердца».

Известный советский топонимист В. А. Никонов в составленном им «Кратком топонимическом словаре» (М., 1956) объясняет название *Артек* из *Кардиатрикон* как «результат фонетических и

других изменений за тысячелетия» последнего и допускает при этом, что греческое название могло возникнуть в результате переделки местного наименования.

Такое местное догреческое название могло существовать только в языке тавров, древнейших обитателей горного Крыма, получившего от них название *Таврика*. Сведения о таврах встречаются в письменных источниках с античных времен вплоть до IV в. н. э.

Член-корреспондент АН СССР О. Н. Трубачев в одной из своих работ, посвященных разысканию индоарийских языковых реликтов в Северном Причерноморье (*Indoarica в Северном Причерноморье. // Этимология. 1979. М., 1981. С. 112–114*) пишет, что название *Кардиатрикон* не старше графа Олизара, которому принадлежало имение, что топоним *Артек* имеет негреческий и нетюркский характер. Соседство местности и ручья *Артек* с *Медведь-горой (Аюдаг)* дает основание объяснять этот топоним из гипотетического прилагательного *artakia «медвежий», которое могло существовать в языке тавров. Из прилагательного О. Н. Трубачев восстанавливает существительное *artaka – «медведь», которое сопоставляет с хеттским hartagga – «медведь» (?) и греческим árktos «медведь».

Предложенная О. Н. Трубачевым этимология топонима *Артек* не является единственно возможной. Существование у юго-восточного склона Аюдага древнего селения с греческим названием *Партенит* (теперь Фрунзенское) позволяет предложить гипотезу о греческом происхождении рассматриваемого топонима.

Название *Партенит* связано с древнегреческим словом parthenós «дева, девушка», «девственный, непорочный», ср. название храма *Парфенон* (древнегреч. parthenôn «помещение для девушек, девичьи покои») в Афинах. По сведениям из «Истории» Геродота, в Таврике существовало святилище *Девы*, которой тавры приносили в жертву потерпевших кораблекрушение или захваченных в море чужеземцев.

В античной литературе и изобразительном искусстве был очень популярен миф об Ифигении, дочери Агамемнона, который был предводителем греческого войска в Троянской войне (Скржинская М. В. Реальные и вымышленные черты Северного Причерноморья в трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде» // Древнейшие государства на территории СССР. 1986). Ифигению должны были принести в жертву в искупление оскорбления, нанесенного богине Артемиде. В момент заклания Артемиду заменила Ифигению козой, а девушку перенесла на облаке в Таврику. Там Ифи-

гения стала жрицей в храме Артемиды и умерщвляла перед алтарем богини пленников.

Согласно Геродоту, тавры утверждали, что их Дева — это Ифигения. Деву они изображали в виде Артемиды, что можно объяснять наслоением греческого мифа на культ местного таврского божества.

У древних греков образ Артемиды соединял в себе несколько более древних божеств. Первоначально она почиталась как богиня животного и растительного царства, затем — охоты, лесов, гор, а также Луны. У Зевса Артемида выпросила себе вечную девственность. Возможно, ее эпитет *Тавроно́ла* «охотящаяся на быков», созвучный с этнонимом *тавры*, и поклонение тавров Деве послужили основанием для переноса событий мифа об Ифигении в Таврику.

Следует отметить, что у Артемиды был еще эпитет *Орти́гия* «рожденная на острове Ортигия, ортигийская». В древности название *Ортигия* «Перепелиный остров» носил остров Делос в Эгейском море, где был храм Артемиды.

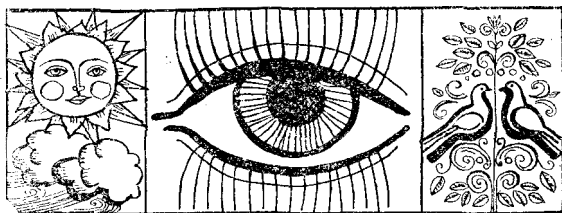
Геродот указывал, что святилище Девы находилось на скале. Место этого храма пока не найдено, но топоним *Партени́т* дает основание предполагать, что он мог располагаться на Аюдаге и что эпитет *Орти́гия*, относящийся к Деве, сохранился в топониме *Артек*.

Однако, возводить топоним *Артек* к эпитету *Орти́гия* не обязательно. Он может иметь самое прозаическое происхождение и объясняться из новогреческого слова *ortýki~örtux* «перепел», ср. татарское название горы *Бедене-хыр* «Перепелный холм» близ Ай-Петри.

Греческое слово должно было бы дать **Ортýк*, а не *Артэк*. Однако переход звука *о* в *а* и звука *и* в *е* встречается в крымско-греческих топонимах: река *Монаготра~Манаготра* (крымско-греч. *манахотра* «одинокая», ср. новогреч. *monáchós* «одинокий»), деревни *Кикенеиз~Кекенеиз*, *Лимнеиз~Лемнеиз* и *Симеиз~Се-меиз*.

Таким образом, происхождение топонима *Артек* может уходить в глубокую древность, отражая религиозные воззрения тавров и будучи в этом случае связанным с древнегреческим эпитетом таврской богини — *Орти́гия*. Название может объясняться и словом *ortýki~örtux* новогреческого языка как «Перепелиное (место)».

Херсонская область



ГЛАЗА ПРОСТУДИТЬ, ПОГРЕТЬ...

Т. В. ГОРЯЧЕВА

Не глаза видят, а человек, не ухо слышит, душа.

В русской народной речи много образных, насмешливых названий глаз: *толы, баньки, зельмы, зелеки, облупыши, видины, солынки, выторочки, стекляшки, набляки, моргалы, зенки* и т. д.

Интересно, что в русском фольклоре и у русских поэтов мы встречаем сравнение глаз человека, животных с птицами: «Очи конь несет, / Два ясных сокола» (Обрядовые песни русской свадьбы Сибири); «Проклевали глаза твои – голуби / Непрошненным укором меня» (Есенин. «Холодней, чем у сколотой проруби...»). У Хлебникова находим сравнение глаз с воробьями (в поэме «Труба Гуль-Муллы»): «Что в ней жили глаз воробьи...»

Сравниваются глаза в русской поэзии с цветами, колосьями, зернами: «Зерна глаз твоих осыпались, завяли...» (Есенин. «Не бродить, не мять в кустах багряных...»); «Колосья синих глаз, / Колосья черных глаз / Гнет, рубит, режет / Соломорезка войны» (Хлебников. *Берег невольников*).

А. Афанасьев писал о том, что глаза, по поверьям древних славян, произошли от солнца. Связь зрения со светом, огнем, холодом обусловила в некоторых случаях совмещение семантики выражений, относящихся к глазу человека, с семантикой народной метеорологической лексики и выражений также образных по своей природе. Давайте посмотрим, какая же фразеология сложилась вокруг человеческого глаза. Известно, например, такое выражение, как *не насытишь око зрением, а ум богатством*, а также *сам-то наелся, да глаза не сыты*. В Причитаньях Северного края, собранных Е. В. Барсовым, встречаем выражение *покормить очи*: «Погляжу бедна кручинная головушка / На свое бытто сердечное

я дитятко; / Покормлю да свои ясныи тут очюшки, / Взвеселю свою безчастную утробушку.

Существует выражение *запереть глаза*: «Хóчень померётъ — то́лько глаза́ заперётъ» (в поморских говорах). У того же Барсова в олонекских плачах (плач по дяде) встречаем: «Его ясныи тут очи запиралися, / Сахарнии уста да загражалися, / Душа с белых грудей вынималася...»

Выражение *серебряные, золотые глаза вставлять* в иносказательном смысле в народной речи означает «давать взятки». У В. И. Даля в Сказке о Шемякином суде читаем: «Любил покойник, нечего греха таить, чтобы ему просители вставляли серебряные глаза». В русском языке есть также выражение *оловянные глаза*, которое значит «мутные и бездушные»; *оловянный глаз* — «с бельмом». Известны также выражения: *из глаз нос унести* «ловко обмануть, перехитрить», *глаза заговаривать* «обманывать», *глаза отбирает* «привлекает внимание». О смышленном человеке говорят: *ухо с глазом*.

Как уже говорилось выше, Афанасьев писал о связи зрения, света и огня. В некоторых русских народных говорах зрение называется *светом* (новосибирские говоры): «Вылечили у ей, стало сорок процентов *свету-то*»; в среднеобских говорах выражение *плохой свет* означает «плохое зрение»: «А я вот теперь шибко стара да вот го́рище: плохой свет». Там же есть выражение *светы́ с глаз посылаются*, которое значит «зарябит в глазах от сильного удара», в тобольских говорах — *свет из глаз выкатился* — «о сильной боли, особенно сопровождающейся испугом». Сравните у С. Есенина: «Кто-то тайный тихим светом / Напоил мои глаза» («Не напрасно дули ветры...»). В. Г. Короленко так писал о глазах: «„Глаза, — сказал кто-то, — зеркало души“. Быть может, вернее было бы сравнить их с окнами, которыми вливаются в душу впечатления яркого, сверкающего цветного мира. Кто может сказать, какая часть нашего душевного склада зависит от ощущения света?» (Слепой музыкант). В смоленских говорах глаза так и называются *окна*: «Окны мое видют плохо».

Глаза не только можно наполнить, напоить светом, они сами могут светить.

В Евангелии от Луки (гл. 11) читаем: «Светильник тела есть око; итак, если око твоё будет чисто, то и все тело твоё будет светло; а если оно будет худо, то и тело твоё будет темно».

Со светом, как и зрением, связаны народные метеорологические и астрономические наименования и выражения.

Так, в псковских говорах записано слово *смотреть* «светить (о солнце)»: «Уже со́нце не смóтрит / з́начит и купа́ца н́льза́».

В смоленских говорах записано слово *зра* (родственное со *зреть* «смотреть») в значении «божий свет», а также выражение *ни зря (ни зры) не видать* в значении «так темно, что ничего не различишь». Интересно, что в южнославянских языках сохранились такие наименования, связанные с глаголом *зреть*, как болгарское *зрак* «утренние или вечерние испарения при хорошей погоде, марево; воздух», словенское *zrâčje* «воздух, климат», сербохорватское *zrak* «луч, воздух».

В русских говорах (псковских, архангельских) слово *зенб* значит не только «глаз, глазной хрусталик», но и «солнцек, открытое место». В некоторых славянских языках ясную погоду, чистый месяц сравнивают с рыбьим оком. Так, в украинском языке есть выражение (в диалектах) *як рыбсье око*: «Така година, як рыбсье око», то есть хорошая погода; в словацком языке: *nebo ako oko* — о ясной погоде; *čistý, jasný ako rybie oko* — о ясной погоде, месяце.

Здесь нужно отметить, что в славянских языках наблюдается связь (параллелизм) между слепым глазом, заволоченным бельмом, плохо видящим, и плохой погодой. Так в русских говорах слово *низкий* значит и «слабый (о зрении)» и «плохой, сырой (о погоде)».

Сравните также смоленское *наволока* «бельмо на глазу»: «Якаясь — то *наволока* на глазе: вижу аккурат сквозь сито» и симбирское, рязанское *наво́лка* «пасмурное небо, пасмурная погода, тучи, облака».

Глагол *зреть* «смотреть»; восходящий к праславянскому **zъrěti* и родственный, в частности, литовскому *žerėti* «пылать, сверкать» первоначальным значением мог иметь также значение «пылать, сверкать».

Этимологами установлено родство глаголов *зреть* и *зырить* в значении «смотреть». Среди родственных глаголу *зырить* образований следует отметить белорусское диалектное (гомельское) *зыр* в значении «жар», которое в северо-западных говорах Белоруссии значит «холодный, пронзительный ветер», а в гродненских говорах *азыра* — «непогода». В полесских украинских говорах записан глагол *зырить* «накалять». Об этом, в частности, писала Ж. Ж. Варбот (Варбот Ж. Ж. Этимологические заметки. Полесск. и русск. зырить. — В кн.: «Балтославянские исследования». М., 1974).

Здесь мы наблюдаем связь значений «зрение», «холод», «жар». Интересно украинское выражение *морб з очима*, имеющее значение «сильный мороз». Здесь нужно сказать, что древними славянами олицетворялись различные явления природы: ветер, тучи, гроза, дождь, радуга, мороз. Живым существом пред-

ставлялось и солнце. При этом встречается упоминание о частях лица, например, у того же ветра, солнца, мороза в тех случаях, когда хотят подчеркнуть особую силу ветра, мороза, солнца; так, в белорусских говорах *губаты вецёр* — «холодный ветер», то есть ветер сильно дующий холодом. Так и *мороз з очіма* — «сжигающий глазами, сверкающий».

В старопольском языке есть выражение *oczasty mroz* — в значении «блестящий, искрящийся, сверкающий мороз».

Око есть не только у мороза; в польском языке бытует выражение *oszko burzy* — «явление, происходящее нечасто, во время бурь... основанное на том, что над серединой воздушного вихря отворяется туча, и на короткое время появляется голубое небо». Молния, по свидетельству А. Афанасьева, воспринималась славянами как зрячая, по его выражению, *многоочитая* (Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу). Древнерусское *многоочитый* — калька греческого *poluómmatos* «многоглазый».

Глаз человека может не только светить, но жечь, обдавать холодом. В донских говорах есть выражение *огни открылись, загорелись в глазах* «искры из глаз посыпались (о боли от удара)»: «Сто огней открылось». В подмосковных говорах выражение *огонь из глаз* значит «сильно, очень». Глаза могут гореть отвагой, злобой, завистью: «На лакомый кус, хоть и душа и сыта, глаза разгораются». Глаза могут жечь, особенно если они принадлежат мифическим существам. Интересно, что домовый (в русском фольклоре) «...показывается людям стариком, ростом с пятилетнего ребенка, всегда в красной рубашке, опоясанный синим кушаком; лицо у него сморщенное, борода белая, волосы на голове желтоседые, а глаза словно огонь горят» (Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу).

Итак, глаза человека могут жечь, холодить, но и их самих можно простудить, согреть, они даже могут зябнуть. Так понятия «холод», «тепло», принадлежащие в частности к сфере метеорологических наименований, могут входить в сферу понятий, относящихся к фразеологии, связанной с глазом человека.

В подмосковных говорах мною записано выражение *глаза простудить* в значении «пойти прогуляться, развлекаться, освежиться, набраться новых впечатлений».

В Словаре смоленских говоров то же выражение представлено в значении «развлекаться, прогуляться, отдохнуть, беседуя с кем-либо». В Смоленском областном словаре В. Н. Добровольского находим выражение *простудить бельмы* «отдохнуть, пойти в гости, побеседовать»: «Падú к куме — прастужу трóху бельмы».

Почему же *простудить глаза* — отдохнуть? В давние времена

сочетание значений «отдых» и «прохлада» было вполне допустимо и закономерно. Сравните, например, древнерусское *пристудитися* «остыть, прохладиться; отдохнуть»: «Пристудитесь под дубом» (XIV в.) [Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка]. У древнерусского же глагола *простудитися* есть и значения «освежать», «оживлять, возбуждать». После «простужения глаз» можно взглянуть *свежим глазом*. Сравните *просвежить* «освежиться, ожить на воздухе; прогуляться». В метеорологической лексике *просвежиться* — «просветлеть после дождя (о небе)» (уральские говоры).

Глаза могут также и зябнуть... от чувства стыда. В Словаре русских говоров Мордовской АССР записано выражение *глаза зябнут* в значении «стыдно»: «Наша Нюрка сё гъварит: «Налу-пицца и лезит ка фсем, чириз няво глаза-ть и зябнут».

Какая же связь между холодом и стыдом?

Оказывается — самая непосредственная. Так, этимологами установлено, что слова *стыд* и *студить* родственны друг другу (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка).

Б. А. Ларин, поддерживая эту точку зрения, пишет о том, что слово *студ* в значении «позор» существовало с глубокой древности наряду со словом *стыд* в том же значении (по древним законам чередования у/ы) и что развитие значений этой синонимической для древнерусского языка пары слов можно представить так: «Из синкретического, нерасчлененного значения „ощущение холода, боли“ развилось значение „мучение страха, стыда, позора“, которое затем перешло в значение „чувство стыда“ и, потом, в значение „поругание, позор“» (Ларин Б. А. Из славяно-балтийских лексикологических сопоставлений — Вестник ЛГУ, № 14, вып. 3, 1958). Интересно, что в той же статье при этимологизации слова *срам* он сопоставил его с литовским *šamti* «иней».

Здесь следует отметить, что у семьи слов, восходящих к праславянскому корню *zъb-, наблюдается такая же семантическая картина, как и у группы слов с корнем *сту(ы)д-*. Так, записанный в архангельских говорах глагол *озябать* значит «холодеть от страха, испуга»: «Подай мне виноватого,— говорит царь. Брат-то и озяб: на брата сказать — брата жаль». Русское (псковские, тверские говоры) *ознѣбушка* значит «горе, печаль», а *знобѣться по ком-* «беспокоиться, заботиться, жалеть и грустить». Сравните также украинское диалектное *ззгнобка*, которое имеет значение «позор», и *озноб* «ощущение холода».

Страх, горе, печаль, беспокойство, а также позор, все эти чувства отражает семантика этих слов, первоначальным значени-

ем которых было «холод»; то есть здесь то же развитие значения: «ощущение холода»→«ощущение мучения, страха, горя, печали, позора»→«чувство стыда»→«позор».

Б. А. Ларин пишет, что аффективные психические и физиологические состояния могут находить иногда отражение в одних и тех же обозначениях.

Почему же именно глаза связаны с понятием «стыд»? Здесь самая прямая связь. Так, древнерусское *обезочивитися* значит «стать бесстыдным», то есть не иметь глаз — не иметь стыда. С другой стороны, смотреть долго, не мигая, — так же — не иметь стыда: «Еста очи долго не мегнуци: те знати бе — сорома, без студа» (Палея XIV в.). Сравните также русское диалектное (приамурские говоры) *оглазѣть* — «потерять стыд».

Вообще понятие стыда связано с лицом человека, не только с глазами. Сравните сербохорватское *дбраз* «лицо», «стыд», *дбразан* «стыдливый, честный» и *бездбразан* «бесстыдный». В русском языке даже есть поговорка: *Без позору рожи не износишь*. Наконец, слово *позор* непосредственно связано с глаголом *зреть* (*по-зор*). Сравните русское диалектное *озираться* «стыдиться, спасаться».

Можно также добавить, что глаза от стыда могут не только зябнуть, но и сгорать, как может от стыда сгорать весь человек; в белорусских говорах записан следующий контекст: «Ат страму вбчы згарѣли».

И, наконец, глаза можно погреть. Выражение *глаза погреть* записано в среднеобских говорах в значении «побыть где-либо непродолжительное время»: «Не успел глаза погреть, уже пойти надо». Точнее сказать, от пребывания где-либо, возможно, сопровождающегося приятным общением с кем-либо, «глаза согреваются», то есть человек находит отраду, утешение, его душа согревается. Сравните древнерусское *согретися* в значении «согреться, утешиться».

Русское диалектное *сугрево* — «тихая, теплая погода».

Таким образом, тепло, холод, свет — эти понятия общи и для наименований погоды и для наименований и выражений, относящихся к глазу человека,



ПАВЛИН ФЕНИКС

Из истории латинских и греческих слов
в русском языке

М. И. ЧЕРНЫШЕВА

Павлин на стене сиял, блистал и переливался при ярком свете во всем своем пышном великолепии... Я говорил Марии: — Мне кажется странным, почему ни один великий земной владыка не избрал павлина эмблемой своей власти. Лучший герб трудно придумать. Погляди: его корона о ста зубцах, по количеству завоеванных государств. Его орифламма вся усеяна глазами — символами неустанного наблюдения за покоренными народами. В медлительном и гордом движении его мантия волочится по земле. Это ли не царственно?..

— Я думаю, Мишика, что государи выбирали себе гербы не по красоте эмблемы, а по внутренним достоинствам. Орел — царь всех птиц, лев — царь зверей, слон — мудр и силен... А у павлина ничего нет, кроме внешней красоты. Голос у него раздирающий, противный, а сам он глуп, напыщен, труслив и мнителен.

А. И. Куприн. Колесо времени

Описание на шелковой вышивке павлина с его роскошным хвостом, уподобленным развернутому полотнищу флага — орифламе, может быть до конца оценено, если знать, хотя бы в общих чертах, представления о павлине у разных народов.

С этой птицей, силу которой определяет ее красота, связаны интереснейшие предания. В иранском мифе рассказывается о том, что бог сотворил мировой дух в образе павлина и дал ему посмотреть отражение в чудесном зеркале. Павлин, потрясенный собственной красотой, пролил капельки пота, из которых произошли остальные существа. В Древнем Египте павлин считался символом Гелиополиса — города Солнца, в котором находился храм солнца (Мифы народов мира). В Индии и Византии павлин считался царской птицей. Изображение его в окружении четырех орлов в рамках из зеленого мрамора было в спальне византийского императора. Еще до новой эры, при иудейском царе Соломоне павлинов ввозили в Палестину из других стран Востока: «И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота... серебро во дни Соломона вменялось ни во что, ибо корабли царя ходили в Фарсис с слугами Хирама, и в три года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и павлинов» (Вторая книга Паралипоменон, гл. 9, 20—21). На греческой земле, по легенде, павлин находится в храме Геры на о. Самос. Отсюда он распространился по странам Запада. Вероятно, в варварскую Европу павлин попал не из Греции или с Востока, а из Рима, о чем свидетельствуют данные этимологии.

Древнее название павлина — *павъ*, самка павлина называлась *пава*. Эти формы сохранились в славянских языках: чеш., слов. *páv*; польск., в.-луж., н.-луж. *raw*. М. Фасмер объясняет их посредством древневерхненем. *pfāwo*, а последняя форма, в свою очередь, выводится из лат. *pāvō* (см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка). Древнерусское слово *павъ* встречаем в переводном памятнике, дошедшем до нас в списке XV века, — в «Шестодпеве» средневекового греческого писателя Георгия Писиды (к. VI в. — начало VII в.). «Шестодневами» в средние века называли сочинения, повествующие о сотворении богом мира в шесть дней, об удивительных существах и явлениях природы. Среди прочего читаем: «Яко нѣкыи видѣвъ пава удивится».

Между тем существовало еще одно название павлина — *пау-не*, встретившееся в древнерусском памятнике «Диоптра (Зеркало) Филиппа», переведенном с греческого языка (русский список XV в.): «пауне тыщеславусть». Это слово соответствует среднегреческой форме *paíni*, возникшей из разговорной латинской

формы равоне. Интересно, что от той же латинской формы происходит название растения *павун* (или *ужовник*), имеющего перообразную форму (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка). Сохранился еще один вариант названия павлина — *паунъ*, восходящий к той же разговорной греческой форме, что и *пауне*. Это слово встретилось в толкованиях Максима Исповедника (ок. 580–662 гг.) к сочинению (Псевдо-) Дионисия Ареопагита (V в. или начало VI в.) «О божественных именах» (перевод сохранился в русском списке XVI в.): «Паунъ имать бо златѣющая и черна и бѣла едино подлежащимъ тѣломъ есть». Интересно при этом отметить, что в переводе и греческом оригинале представлены разные формы. В греческом тексте зафиксирована литературная форма *taûs*. Первоначальный источник двух этих греческих слов — литературного *taûs* и его разговорного варианта *raûni* — этимологи греческого языка видят на Востоке.

А слово *павлинь* находим только в русском памятнике XVII века: «Писать иконописцамъ въ книгахъ... птиц павлиновъ» (1664 г., Забелин И. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст.). По мнению М. Фасмера, слово *павлин*, вероятно, попало в русский язык через посредство средненижненем. *raw(e)lûn* (см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка). Однако это плохо объясняет происхождение немецкой концовки *-lûn* и ударение в русском *павлин*. Проблема до конца неясна. Можно предположить здесь заимствование латинской формы *raûbōīnus* «павлиний», где *-л-* появилось в результате диссимиляции, т. е. замены одного звука другим.

С литературной греческой формой *taûs* «павлин» исследователи связывают происхождение цветообозначения *таусинный*, слова весьма употребительного в русских деловых памятниках XV–XVII вв., главным образом, при описании цвета ткани. Н. Б. Бахилина, относящая *таусинный* к названиям смешанных оттенков красно-синего цвета, предположила, что, возможно, слово означает не окраску павлиньих перьев, а цвет камня (Бахилина Н. Б. История цветообозначений в русском языке). Ее предположение основано на следующем мнении А. Е. Ферсмана: «Таусинный камень — сапфир или лабрадор, с отливом павлиньего пера. Корень слова происходит от персидского «тауси» — павлин. В старину в России таусинный цвет считался самым нарядным и роскошным» (Ферсман. Очерки по истории камня).

Заметим между прочим, что имя *Павлин*, связанное в народном представлении с названием птицы, на самом деле происхо-

дит от латинск. paulinus «Павлов» — прил. к латинск. Paulus (Павел) «маленький».

В восточнославянской традиции заметно двойственное отношение к павлину. С одной стороны, восхищенное и потому ласковое. В. Даль в «Толковом словаре» приводит такие слова, как *павлинчик, павочка, павонька, павушка, павлинушка, павлинчик*. О женщине с величавой осанкой и плавной походкой говорили *пава*: *Идет, словно павушка плывет*. У А. С. Пушкина в «Сказке о царе Салтане»: «А сама-то величава,/ Выступает, будто пава...». С другой стороны, павлин представляется существом гордящимся, тщеславным, спесивым, потому — неприятным. В. Даль приводит такую фразу: *Пава — спесивая красавица*.

Известно, что некоторые европейские поверья, ассоциирующие, вероятно, «глазки», усеивающие павлиний хвост, с «дурным глазом» — «сглазом», связывают образ павлина с несчастьем, бесплодием и т. п. (Мифы народов мира). Повесть А. И. Куприна «Колесо времени», цитата из которой приведена в начале статьи, написана как бы в подтверждение русской пословицы *Павлин бы и красив, да ногами несчастлив*, то есть приносит несчастье. Оставив в стороне историческую достоверность (герой повести сетует на то, что павлина нет в гербах, — на самом деле изображения его широко распространены в геральдике), перечитайте повесть, где павлин — его завораживающий облик и ничтожная самовлюбленность — фон повествования и тень героя.

Похоже, что в средние века в сознании людей произошло сближение павлина с другой птицей, также связанной с Гелиополисом — городом Солнца. В русском фольклоре заметно смешение образа павлина с обликом сказочной Жар-птицы: «На ней перья золотые, а глаза восточному хрусталу подобны» (Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и сером волке). Это отражено и в литературе, использующей фольклор:

Вот полночную порой
Свет разлился над горой,—
Будто полдни наступают:
Жары-птицы налетают...

П. П. Ершов. Конек-горбунок

Если обратиться к книжной миниатюре, то окажется, что в представлении, например, И. Я. Билибина Жар-птица обликом схожа с павлином: тот же длинноперый роскошный хвост с «глазками», тот же венец «о ста зубцах» на голове.

Все беды ершовского Ивана начались с того, что он нашел и поднял перо Жар-птицы. Мотив пера птицы, из которого появля-

ется-возрождается живое существо — птица (сокол), человек — сохранен в русской сказке «Перышко Финиста ясна сокола». Следующий шаг — соотнесение Финиста и Жар-птицы со знаменитой сжигающей себя и возрождающейся из пепла птицей Феникс, — и сложный клубок взаимопроникновения культур завязан. Лингвистические доказательства родства слов *Финист* и *Феникс* (от греч. *phoinix*) уже были приведены В. В. Колесовым в статье «Финист ясный сокол» (Русская речь, 1979, № 5). О сходстве обликов павлина и Феникса свидетельствует такое описание двух птиц в одном из греческих «Физиологов» («Физиологами» называли сочинения, в которых описывались редкие и фантастические животные, загадочные явления природы и т. п.): «Птица феникс гораздо красивее павлина, ибо у последнего крылья золотые и серебристые, а у феникса сапфировые, изумрудные и из прочих драгоценных камней. На голове он имеет венец» (Карнеев А. Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. СПб., 1890). Внимательно «вчитавшись» в это изображение, с удивлением замечаем, что птиц следовало бы поменять местами. В самом деле — должен гореть металлическим блеском Феникс, а не павлин. В латинской поэме Лактанция (к. III в. — начало IV в.) «Песнь о птице Феникс», вместившей в себя все античные представления об этом загадочном существе, именно Феникс блистает «желтым металлом»:

Всем являет она удивительный облик и грозный:
Толь горделива ее пурпурных перьев краса...
Так ее плечи и грудь сверкают рдяным покровом,
В ярком уборе спина Феникса и голова,
Хвост удлиненный ее отливает желтым металлом,
Красные пятна на нем пурпуром жарким горят.
Радужой крылья цветут — как будто сияние Солнца
Пало на влажную тень облака после дождя.
Снежная кость и зеленый смарагд в драгоценно-кристальном
Приотворенном слегка клюве ее сопряглись.
Пара огромных очей, подобных двум гниацинтам;
Из средоточия их грозный мерцает огонь.
На возрожденной главе — корона с лучами златыми;
Тот световой ореол к Фебу причастность гласит.

Перевод К. А. Максимовича

Картина еще более усложнится, если обратить внимание в легенде о Фениксе на мотив возрождения, соотносимый с воскресением Христа в «Физилоге»: «Финикс образъ вземъ спа(сите-ля) нашег(о)».

Но это, пожалуй, тема для другого разговора.

СТАЛИНИЗМ И СТАЛИНЩИНА

Эр. ХАН-ПИРА,

кандидат филологических наук



бывший прокурор И. Шеховцов, вчинивший иск газете «Советская культура», в зале суда «стал запугивать Ю. Карякина грядущей ответственностью за «введение в обиход термина *сталинизм*, ибо кощунственно образовывать из Сталина термин по принципу слова *фашизм* — с тем же суффиксом!» Тут он, конечно, увлекся. Забыл в судебной полемике, что *-изм* не такой уж крамольный суффикс» (Минкин А. Тень.— Огонек, 1988, № 41). Автора одного из писем в «Огонек» слово *сталинизм* возмущало по противоположной причине: напомнив, что *-изм* есть в таких словах, как *марксизм*, *ленинизм*, автор считал оскорбительным соединение этого суффикса со столь одиозной производящей основой. Он думал, что такое соединение снимает, нейтрализует одиозность. И предлагал не употреблять этого слова, заменив его *сталинщиной*. (Огонек, 1988, № 36).

Слово *сталинизм* первым, видимо, произнес Л. Каганович: «Именно он предлагал Сталину заменить слово *ленинизм* на слово *сталинизм*...» (Сланская М., Небогин О. Приговор выносит время.— Московская правда, 1989, 10 января). Полагаю, что вряд ли при этом имелась в виду замена, как пишут авторы. Скорее всего, *сталинизмом* предлагалось обозначить новый этап, новую ступень в развитии марксизма-ленинизма, сталинский «вклад» в него. Печатно своего авторства Каганович не закрепил. Пальму первенства у Кагановича, кажется, мог оспаривать секретарь Сталина Б. Бажанов, который вспоминает, как предлагал в 1927 году слушателям Института Красной профессуры термин *сталинизм* и соблазнял их мыслью написать книгу о *сталинизме* (см.: Огонек, 1989, № 40, с. 27). Второй раз слово родилось в работах советологов [*советология* — «направление в современном буржуазном обществоведении, специализирующееся на «изучении коммунизма», Советского Союза и др. социалистических стран» (Современная идеологическая борьба. Словарь. М., 1988)]. И, конечно, в ином значении, чем у Бажанова и Кагановича. В нашей печати на протяжении более тридцати лет *сталинизм* появлялся только

при упоминании высказываний советологов и других зарубежных деятелей. И как «их» слово — всегда одетым в осуждающие или, по крайней мере, пронизирующие кавычки. Кстати, и *советолог* до недавнего времени был экипирован так же. А вот *маоизм* не закавычивали.

Такой подход к *сталинизму*, по-моему, имел своим идейным основанием убеждение, что Сталин был ленинцем, что его воззрения и его политическая линия находились, в основном, в русле ленинизма.

Ю. Буртин в статье «Изжить Сталина!» пишет о словах *сталинизм* и *сталинщина*: «...еще так недавно совершенно невозможные в нашей прессе, носившие на себе печать лютой идеологической крамолы, слова эти то и дело звучат сегодня, причем выговариваются без всякой дрожи в голосе, как любые обычные ...слова» (сб. Суровая драма народа: ученые и публицисты о природе сталинизма. М., 1989).

По моим наблюдениям, от кавычек термин *сталинизм* у нас освободился лишь в 1987 году. Слов *сталинизм*, *советолог* нет ни в последнем издании Советского Энциклопедического Словаря, ни в Словаре политических терминов.

А. Минкин, защищая суффикс *-изм*, сказал, что он «не такой уж криминальный». Он вообще совсем не «криминальный». Будучи по происхождению книжным и заимствованным, этот суффикс экспрессивно-нейтральный, универсальный. И поэтому никак не может породить определенное эмоционально-выразительное свойство слова, его обертоны, или, как говорят лингвисты, коннотации.

Эмоциональное восприятие слов с этим суффиксом определяется нашим отношением к тому, что названо основой слова, к которому он присоединен, и отношением к тому, что обозначено словом, которое он помог образовать: ср. *интернационализм* и *шовинизм*, *гуманизм* и *садизм*.

Сравнительно недавно в печати у *сталинизма* возник конкурент *сталинщина* [как теперь стало известно, к «борьбе со *сталинщиной*», к «ликвидации *сталинщины*» призывало нелегально распространяемое обращение Всесоюзной конференции Союза марксистов-ленинцев, состоявшейся в июне 1932 года (см.: Юность, 1988. № 11)]. В сегодняшней речи эти слова относительно синонимы. *Сталинизм* употребляют и как название системы политических, экономических, теоретических взглядов, догм, некое учение, а также порожденные им убеждения, стереотипы, представления, сохранившиеся у некоторого числа людей. *Сталинизмом* именуют и тиранический режим, и время господства этого режима, и все им содеянное. Вот несколько примеров: «Нет не

обиженных *сталинизмом* наций!» — заголовок информационной статьи в «Московских новостях» (1989, № 9); а дальше: «У нас в стране нет необиженных наций. *Сталиницина* задела все». Этот тезис, выдвинутый одним из участников с самого начала, подтвердился даже списком вступивших в полемику; «...закон не допускает и произвола, пренебрежения правами любого лица, в том числе обвиняемого. Мы не имеем права забывать, какую дорогую цену заплатил наш народ за попрание этого принципа во времена сталинизма» (Темушкин О. Приговор вынесен, проблемы остаются. — Московские новости, 1989, № 2); «Сталинизм как система взглядов — это не только история социализма, история России, но и история Европы...» (А. Ципко. О зонах, закрытых для мысли. — В сб. Суровая драма народа: ученые и публицисты о природе сталинизма. М., 1989); «*Сталинизм* сегодня — это пустые гастрономы и „колбасные“ электрички из Москвы. *Сталинизм* сегодня — это сгон горожан на „картошку“ и на базы, свои огурцы ценой в чужой ананас и чужая говядина, замороженная еще при „холодной войне“» (Черниченко Ю. Накормить самих себя. — Аргументы и факты, 1989, № 7).

Сталиницина применяется для обозначения режима личной власти Сталина и времени господства этого режима и культа его основателя, времени безбрежного произвола и определенного состояния социально-психологического климата в стране. «Отметилась тяжелой печатью пора *сталиницины*, когда одни творили историю, а другие ее сотворяли в угоду кому-то или чему-то» (Костенко К. На весах правды. — Комсомольская правда, 1989, 5 января); «...страх, посеянный *сталинициной* в системе паробраза, еще силен...» (Матвеев В. Внимание: школа! — Московские новости, 1988, № 51); «...умер Ленин, и пришли страшные времена *сталиницины*» (Кугультинов Д. Всяк сущий в ней язык... — Московские новости, 1989, № 3); «...социализм и *сталиницина* не имеют ничего общего» (Матуковский Н. Правда о Куропатах. — Известия, 1988, 26 ноября).

То, что творилось в 1937–38 годах, народ вскоре назвал *ежовщиной* (кстати, наши толковые словари все еще не замечают этого слова). *Ежовщина* была составной частью *сталиницины*. И никто не говорил о *ежовизме*. «Пора *брежневщины* — *рашидовщины*, *щелоковщины*, *медуновщины* и т. д. и т. п. — растлевала души, выжигала из них все человеческое и — что может быть страшнее? — окончательно разрушала веру» (Костенко К. На весах правды. — Комсомольская правда, 1989, 5 января).

Суффикс *-щин-а* в отличие от *-изм* обладает экспрессией неодобрения, осудительной экспрессией, почему и соединяется с

основами слов, называющими лиц, скомпрометировавших себя в глазах всего общества или какого-либо его слоя. Слова, образованные от таких основ с помощью суффикса *-щина*, обозначают явления, события, прямо связанные с этими лицами, а также те социально-психологические явления, которые ярко представлены в поведении известных литературных героев (*хлестаковщина*, *машиловщина*, *обломовщина*).

Как правило, такие слова не обозначают теоретической деятельности или системы взглядов (но ср.: *базаровщина*, *махаевщина* — «мелкобуржуазное, анархистское течение, проповедовавшее враждебное отношение к интеллигенции и особенно к революции», БСЭ, третье издание. Основателем был В. К. Махайский). Они в подавляющем числе случаев называют события, практическую деятельность, порядки, режимы, состояние общества в целом или какой-либо его сферы (ср.: *бироновщина*, *зубатовщина*, *аракчеевщина*, *мажновщина*, *лысенковщина*). Публикуя в «Правде» (1989. 13 янв.) письмо 1955 года группы ученых в ЦК КПСС, Р. Кузнецова замечает, что оно «свидетельствует о том, в каком чудовищном состоянии находилась в середине 50-х годов биологическая наука в нашей стране, какие препятствия были поставлены *лысенковщиной* перед подлинными исследователями».

Не исключено, что со временем нынешняя относительная синонимия между *сталинизмом* и *сталинщиной* стихийно сменится паронимией, то есть различением смыслов двух слов с одинаковым корнем и разными суффиксами. Этому, поверное, будет способствовать происходящая терминологизация *сталинизма* и активное употребление слов, называющих действия, порядки, режимы по именам прямо связанных с ними людей: *ждановщина*, *бериевщина*, *брежневщина*, *рашидовщина*, *кунаевщина*, *медуновщина*, *алиевщина*, *щёлоковщина*, *багировщина*.

По-видимому, целесообразно попытаться ускорить процесс перехода от синонимии к паронимии этих двух слов нормализаторским вмешательством, сознательным воздействием на языковую стихию посредством рекомендации употреблять слово *сталинизм* только в случаях, когда речь идет о системе политических, экономических, теоретических, этических взглядов Сталина и порожденных этой системой идеологических и социально-психологических метастазах у определенного числа людей. Слово же *сталинщина* следует рекомендовать к применению лишь тогда, когда речь заходит о режиме личной власти Сталина, его культе, его безграничном произволе, вдохновленных им неслыханных репрессиях и времени, вместившем в себя все это.

ЗА ЗНАКОМОЙ СТРОКОЙ «Держать в обаянии»; «Во лжи прелестной обличу»

В. И. МАКАРОВ,
кандидат филологических наук;
Н. П. МАТВЕЕВА,
кандидат филологических наук



лово *обаяние* в значении «очарование, прелесть, покоряющая сила, исходящая от кого-либо чего-либо» хорошо всем известно. Но вспомним «Же-

лезную дорогу» Н. А. Некрасова, знакомые строки:

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.

Нетрудно заметить, что слово *обаяние* использовано в непривычном значении: сейчас мы уже не скажем «держат в обаянии», обаяние, очарование, скорее, может исходить от кого-либо как волшебная, таинственная сила.

Действительно, в XIII веке слово *обаяние* и означало «колдовство, чародейство», но... «произведенное при участии слова, говорения, заговора», так как образовано оно было от глагола *баяти* «говорить», «колдовать». От глагола *обаяти* «заговорить», «околдовать» в древности возникло даже существительное *обаятель* «чародей». Хотя существительное это не сохранилось в современном языке, до нас дошло произведенное от него прилагательное *обаятельный* «побуждающий, чарующий, прелестный», известное с XVIII века.

Некрасовское *держать умного Ваню в обаянии* следует понимать как «держать его под воздействием чар, колдовства», вызванных не соответствующими истине словами, ложной информацией.

Писатели XIX века не только ярче, отчетливее, чем мы, ощущали связь слова *обаяние* с его первичным значением «чародейство, волшебство», но и довольно часто обыгрывали его в своих произведениях:

И наконец перед зарею...
Тихонько Лейский задремал;
Но только сонным обаяньем
Он позабылся, уж сосед
В безмолвный входит кабинет...

Пушкин. Евгений Онегин;

«Думая, что это («странный образ человеческого лица».— В. М. и Н. М.) было простое обаяние сна, которое сей же час рассеется, он открыл больше глаза свои...» (Гоголь. Тарас Бульба). А Ф. М. Достоевский прямо указывал на исконное значение слова в романе «Братья Карамазовы»: «— И не смейте мне говорить такие слова, обаятельница, волшебница!»

От древнерусского *баяти* «говорить, заговаривать»; «колдовать»; «лечить» произошли и хорошо известное слово *басня* «правоучительный рассказ»; «небылица» и *краснобай* «пустой говорун». В последнем слове проявилось ироническое отношение народа к пустословию. Ведь *красный* в древности означало «красивый».

С XVII века в словарях русского языка отмечается слово *баснословный* в значении «невероятный». Нетрудно определить его составные части: *басня* и *слово*, но, вероятно, не совсем ясно, откуда такое странное значение у слова? Все не так уж и сложно: это буквальный перевод греческого *мифология*, где *mythos* — «басня, небылица, миф» и *logos* — «слово, речь, сказание».

Обаятельный, баять, басня, баснословный, краснобай — это однокоренные слова.

Рассказывая об истории прилагательного *обаятельный*, следует назвать его синоним *прелестный*. Такое простое и понятное, на первый взгляд, имеющее, без сомнения, в высшей степени положительную окраску, слово это имело несколько веков назад... отрицательное значение. В «Повести о Ерше Ершовиче» Осетр жалуется на Ерша, заманившего его в невод: «И я на его... прелестное слово положился и в невод пошел...». Может ли иметь положительный смысл *прелестное* слово, чуть не доведшее Осетра до гибели? Прояснится ли значение слова еще из следующего контекста? «Вчера видели,— принес в мешке... кости и ко-

решки, зажег три свечи,— шептал прелестные слова и на свече жег чьи-то волосы...» (Толстой А. Н. Петр Первый). Дело в том, что в древности существовало слово *прелесть* со значением «обольщение, соблазн», образованное от глагола *лѣстити* «обманывать, соблазнять». Вот это-то устаревшее, к нашему времени уже исчезнувшее значение слова и использовал А. Н. Толстой в своем романе: «Иоаким читал:...Иностранных обычаев и в платье перемен никаких не вводить... иноземцев выбить из России вон и немецкую слободу, геенну, прелесть,— сжечь!..» В русском языке XVI—XVIII веков существовали даже словосочетания *прелестные письма*, *прелестные листы*, буквально означавшие «обольщающие, соблазняющие на что-либо призывы»; это были воззвания, призывавшие к бунту. Снова обратимся к произведению А. Н. Толстого: «Гулял я в суконном кафтане, на бочку — острая сабля, в шапке прелестные письма».

Уже к началу XIX века, когда, как известно, весьма заметно изменялся русский литературный язык, слово *прелестный* развило новое, сохранившееся до наших дней, значение «очаровательный, чудный, прекрасный». В одну эпоху, таким образом, слово совместило в себе два не просто различных, но противоположных значения: 1. *Соблазнительный* — обманный, лживый; 2. *Соблазнительный* — очаровательный, прекрасный. Разница между ними заключалась не только в значениях, но и в их судьбе: первому значению уже уготовано было дряхление и небытие, второе, недавно родившись, лишь набирало силу. Интересно в этой связи замечание В. К. Кюхельбекера, поэта, друга А. С. Пушкина: «Сегодня, когда прохаживался, матрос, из стоящих на карауле, взглянул на небо и воскликнул: «Какое прелестное небо!» Лет десять (!) назад любой матрос в нашем флоте, вероятно, не попил бы, если бы при нем кто назвал небо прелестным... Как после этого еще сомневаться, что наш век идет вперед?» (Кюхельбекер. Лирика и поэмы). Высказывание русского поэта пушкинской поры для нас тем более интересно, что оно дает не такую уж частую в истории языка возможность сравнительно точно определить время появления и исчезновения конкретного языкового факта. Если в историческом языкознании ученые нередко вынуждены довольствоваться формулировками типа «явление возникло (исчезло) не позднее (раньше) такого-то века», то здесь мы получаем «попадание» в лингвистическую цель с точностью до десятилетия!

Обратившись снова к пушкинской поэзии, мы найдем в ней подтверждение этого соединения двух значений-антонимов, более того, в одном и том же произведении, поэме «Руслан и Люд-

мила»:

Прости мне, северный Орфей,
Что в повести моей забавной
Теперь вослед тебе лечу
И лиру музы своейравной
Во лжи прелестной обличу

Ясно, что поэт не мог назвать какую бы то ни было ложь *прелестной* в современном понимании этого слова.

Пастушки, сон княжны прелестной
Не походил на ваши сны,
Порой томительной весны,
На мураве, в тени древесной.

Здесь, наоборот, контекст не допускает понимания слова в устаревшем значении, как и в хорошо известном стихотворении А. С. Пушкина «Зимнее утро»:

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись...

На основе отрицательного значения в светском жаргоне начала-середины XIX века возникло новообразование, прекрасно с ироническим оттенком использованное Н. В. Гоголем: «Ну что ж наш прелестник? (т. е. обманщик, соблазнитель.— В. М. и Н. М.) — сказала между тем дама приятная во всех отношениях» (Мертвые души).

Итак, современное, положительное, значение «обаяние, очарование» появляется у слова *прелесть* только в самом начале XIX века и успешно продолжает жить и в наши дни, от устаревшего же, отрицательного, значения остались лишь, как говорится, «воспоминания», как, например, в современном глаголе *прельстить* «обмануть, увлечь обманом».

Киев



Судьба родного языка

С. С.-Д. КИМ,

кандидат филологических наук

Наша страна многонациональна. Ее населяют коренные большие и малые по численности народы, а также представители приплывших народов.

К таким «пришельцам» относятся корейцы. Со второй половины XIX века они мигрировали из Кореи и компактно селились в необжитых районах дальневосточного приморья Российской империи, где за три-четыре до- и послеоктябрьских десятилетия создали устойчивую хозяйственную и культурную систему, вобравшую в себя новое, но сохранившую и развившую также традиционно корейское. На родном языке велось обучение в общеобразовательных школах, специальных учебных заведениях. Учительские и преподавательские кадры для них готовил, в частности, Владивостокский корейский педагогический институт. С поголовным же переселением в 1937 году приморских корейцев в Казахстан и республики Средней Азии (чудовищная репрессия в масштабе целого народа до сих пор остается «белым пятном» истории) было неизбежно разрушение имевшейся жизнедеятельной системы. Так и случилось. Уже в первые переселенческие годы школы для корейских детей перешли на русский язык обучения. Этот акт был совершен не по указанию директивных органов, а по волеизъявлению родителей-корейцев, обеспокоенных в изменившихся обстоятельствах будущностью своих детей. Отпала надобность и в специальном педагогическом институте (упразднен в годы войны).

В новых условиях жизни и работы происходила интенсивная языковая переориентация корейцев. В настоящее время в их составе в целом преобладают билингвы, а среди молодежи районных центров и городов — монолингвы, сменившие свой родной язык на русский.

Родной язык оставляется человеком не потому, что он беднее другого, а потому, что он не находит применения в различных сферах общения. Мертвыми языки стали потому, что их оставили носители и творцы этих языков. Суженный в своем применении до сферы семьи, бытового обслуживания или, скажем, до сферы религиозных отправок, язык утрачивает возможности обогащения, дальнейшего совершенствования.

Средний уровень владения советскими корейцами своим родным языком настолько низок, примитивен, что даже представители поколения, знающие родную грамоту, с трудом понимают смысл прочитанных текстов, например газеты «Ленин кичи» («Ленинское знамя»). Едва ли сейчас сыщется несколько сотен корейцев, добровольно подписывающихся на нее. Крайне бедна речь современной молодежи. Большинство не способно выразить на родном языке даже четыре действия арифметики.

Язык существует в единстве языковой системы и речевой деятельности. Первая становится мертвой, если она не реализуется в деятельности. Иными словами, расширение сфер применения языков обеспечивает им доступательное развитие, напротив, сужение ведет к застою, равносильному их угасанию, омертвлению. Между тем эти основополагающие языковедческие положения, признаваемые в целом, умалчиваются или отвергаются, как только речь заходит о конкретных языковых явлениях нашей действительности.

Язык — средство... И правомерно сравнение его с другими средствами, например орудиями земледелия. Корейцы в Приморье обрабатывали землю с помощью хоми (род тяпки с короткой ручкой). По переселении в Среднюю Азию и Казахстан исконному средству возделывания податливой почвы корейцы предпочли кетмень. Но почему смена исконного орудия труда произошла безболезненно, а смена исконного средства общения и обмена мыслями сопровождается болью, ностальгией? Пожалуй, здесь обрывается аналогия.

С гуманитарной позиции, язык, как известно, — неотъемлемый признак человека — продукта общественного развития, компонент целого, изначальный в человеке, как и сознание. Общее, универсальное в языке — его прагматическая сущность, проявляющаяся как средство общения и обмена мыслями. Но языка вообще — нет. Форма его существования всегда конкретна, национальна.

Со сменой родного языка на другой человек во многом утрачивает изначальное, национальное самоощущение, самосознание. С помощью нового языка, обретенного в результате отрицания родного, человек заполняет свой духовный мир новыми ценностями, которые частично, а нередко и полностью, вытесняют из него национальные начала.

Современные языковые реальности выдвигают множество проблем, исследованием которых должна заняться наша социальная лингвистика, так, например, как это предлагает Е. Зеймаль в статье «Народности и их языки при социализме» («Комму-

вист», 1988, № 15).

Бросается в глаза в нашей социальной лингвистике прежде всего ортодоксальность, подчиненная догме «расцвет и сближение». Да, есть и расцвет и сближение, динамичное развитие социалистических наций и их языков. Но в процессе языкового строительства в нашей многонациональной стране наряду с прогрессом очевиден и регресс. Свидетельство тому — положение малых народов Севера, Крайнего Севера, Дальнего Востока. И не только этих регионов.

Теперь уже справедливо признаны некорректными понятия «старший брат», «второй родной язык». В придумывании такой фразеологии более всего изощрились доморощенные одописцы, метко названные Чингизом Айтматовым «сверхинтернационалистами».

Русский народ и его язык не нуждаются в таких сомнительных эпитетах. Русский народ осознает свою объединительную миссию, ответственность за судьбы народов, населяющих необъятные просторы страны. Хорошо, проникновенно об этом сказал академик Д. С. Лихачев в одном из своих выступлений, направленных против проекта переброски вод северных рек в Каспий.

Данные переписей населения, свидетельствующие о все большем числе представителей нерусских народов — и больших, и малых, признающих своим родным языком русский, наша социальная лингвистика оценивала как благо, как признак единения наших народов, не видя в этом процессе тревожных симптомов противоречий, могущих принять острую форму. Представители социальной лингвистики и по сей день как должное принимают такие данные опроса, как: национальность — кореец, родной язык — русский, не задумываясь над одиозностью таких записей. Человек может не знать родного языка, но это не значит, что его родным языком является иной, тот, которым он владеет.

Билингвизм в целом следует оценивать как добро, благо. Хорошо знать, наряду с родным языком, и язык соседа. Еще лучше знать множество языков, быть полиглотом. Двуязычие может оказаться и злом. Оно становится таковым тогда, когда нарушается соотношение в сосуществовании двух языков в пользу второго.

Прост механизм перехода добра — так называемого гармонического билингвизма — в свою противоположность. Если билингв больше в своей речевой деятельности использует благоприобретенный язык, то в его двуязычии рано или поздно наступает перекос: от «гинодинамии» ослабевает владение родным языком и вместе с этим упрочивается позиция второго языка. Неизбежный

финал такого крена в билингвизме — смена родного языка на чужой. Гармоническое двуязычие в масштабе целых народов — это мысленный, предполагаемый идеал, становящийся фикцией, иллюзией, несбыточной мечтой, если условия жизни и работы не обеспечивают фактического равенства для развития языков, равенства в их применении. Расширь сферы использования языков — они будут развиваться, совершенствоваться, ограничь — неминуем застой, и быть им тогда на задворках истории, а затем — в числе «мертвых».

Действительность подтверждает иллюзорность гармонического двуязычия и реальность двуязычия, тающего в себе опасность языковой переориентации народов. Полагаю, что надо стремиться к двуязычию разумной достаточности, предполагающему хорошее владение родным языком, а владение языком межнационального общения в той мере, в какой требуется человеку в зависимости от рода его деятельности.

Русский язык для нерусского — средство достижения прежде всего прагматической цели, язык межнационального общения. Родной же язык для него — не только средство, но и неотъемлемый его национальный признак. Поэтому слабое владение родным языком равносильно ослаблению национального в человеке, в результате чего он утрачивает, в частности, способность быть одним из творцов своего родного языка. Спрашивается: хочет ли какой-либо народ, чтобы его сыны и дочери не принимали участия в языкотворчестве, не приумножали богатств родного языка? — Нет. Этого не хотят ни большие, ни малые народы СССР.

Наша социальная лингвистика не торопится с ответом на эти и другие острые вопросы. Правдивые высказывания о двуязычии, о его мере — когда оно добро, а когда может перерасти в зло, о тревожной тенденции языковой переориентации значительной части нерусских народов страны, к сожалению, принадлежат не представителям социальной лингвистики. Пора нашим социолингвистам прислушаться к тому, что говорят такие полномочные представители больших и малых народов нашей многонациональной Родины, как Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Юрий Рытхэу, Василь Быков, Борис Олейник, не отворачиваясь чванливо от них как от некомпетентных лиц. Это тем более необходимо, не терпит отлагательств, так как есть опасность распространения правдоподобной лжи о русском языке как виновнике всех названных бед.

В заключение автор — представитель малого народа, испытывающего на себе языковую переориентацию, считает своим гражданским долгом сказать:

Ни один народ, в том числе русский, не навязывает своего языка другим. Знание русского языка, равно как и других языков, получивших статус средства межнационального общения, — объективная потребность многонационального населения страны. И к нему тянутся.

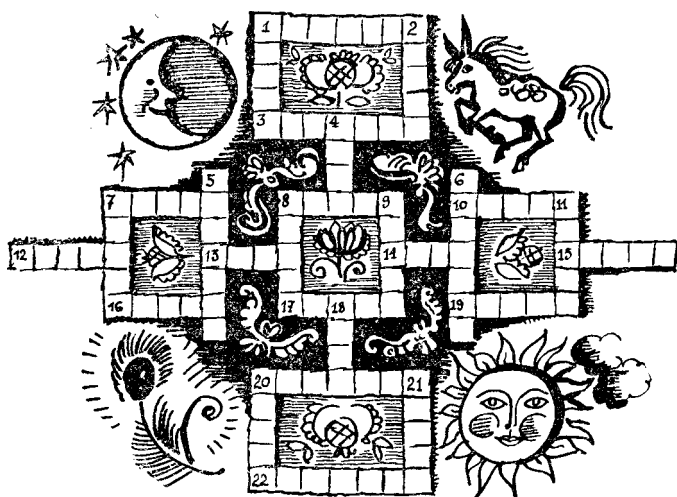
Притягательная сила основных языков, и прежде всего мировых, — это широкие возможности осуществлять с их помощью деятельность во всех сферах материального и духовного производства, в том числе и таких приоритетных, как наука, техника, культура. Тяготение «инородцев» к основному языку данного региона объясняется базисными, материальными факторами, условиями их жизни и работы. Это объективный, исторически обусловленный естественный процесс.

Язык создается тысячелетиями. Однако достаточно всего лишь нескольких десятилетий, чтобы его творец и носитель оставил его, сменил на другой. Главное условие существования данного языка — компактное проживание его носителей, всемерное укрепление хозяйственной и культурной инфраструктуры данного народа.

Настоящая виновница перекосов в билингвизме, смене родных языков на иные — авторитарная надстройка в лице тех, кто распоряжался судьбами народов, в том числе русского. По милости «мудрого руководства» страна с богатейшими сельскохозяйственными угодьями не может прокормить себя, стали бесхозными обширные регионы страны, например русское Нечерноземье. Известно, кто винсвен и в катастрофическом обмелении Аральского моря, кто хладнокровно совершал насилие, поголовно переселяя целые народы из одного региона страны в другой, в результате чего была разрушена, в частности, приморская корейская советская инфраструктура — материальная основа языковой и культурной устойчивости советских корейцев.

На пути нашего языкового строительства будут и интеграция, и дифференциация (при преобладании первой), и благотворное влияние одного языка на другой, и оставление отдельными группами народов своих родных языков (языки не смешиваются, не поглощаются, не растворяются в других, а как средства, не находящие применения, оставляются его носителями). Будут на этом пути и противоречия. И чтобы разумно преодолевать их, необходимо создание правового государства — гаранта, обеспечивающего защиту прав как отдельных граждан, так и целых народов.

Ташкент



КРОССВОРД

«П. П. Ершов.

КОНЕК-ГОРБУНОК»

По горизонтали: 1. Как называется Иван кипящее молоко, в котором должен искупаться? 3. Помещение, где обычно находился Конек-горбунук. 7. Какой рабочий инструмент брали с собой братья, уходя «в дозор»? 8. Отгороженное место для хранения овса. 10. Прядь гривы между ушей на лбу лошади. 12. Жилище Царь-девицы. 13. Каким словом называет старший брат доставшихся Ивану коней? 14. Кто, по рассказу Ивана, вытапывал пшеницу на поле? 15. Персонаж сказки. 16. Холод. 17. Известное в поговорках имя, использованное П. П. Ершовым в одном из поговорочных эпиграфов в сказке. 19. Прimitивная картинка (такие картинки обещал Ивану отец за охрану поля). 20. Каким словом называет Иван кобылицу, топчущую пшеничное поле? 22. Временная легкая постройка, в которую отсел Иван кобылицу.

По вертикали: 1. Соцветие злаков. 2. Большой металлический круглый сосуд, в который должны были нырять Иван и царь. 4. Зерно, идущее на корм лошадям. 5. Как называет автор специальные падения на виду у царя подхалимов-дворян (ср. описание подобной сцены из «Горя от ума» А. С. Грибоедова)? 6. Преподаватель (им несколько лет был П. П. Ершов в тобольской гимназии). 7. Жилище Месяца. 8. Что устроили ёрш и карась? Это разг. слово «вышло» из известного библейского выражения, упоминающего два города древней Палестины. 9. Возница. 11. В старину у крестьян: кафтан из толстого сукна. 18. Переплетенные пряди волос, за них схватил Иван Царь-девицу. 20. Разг. Старые и всякие домашние вещи. 21. Старая мера длины, встречаемая в сказке.

СТРАНИЦА НОВЫХ СЛОВ

Икбника (от греч. eikōn — «изображение», «образ» и *-ика*) — научное направление в оптике, позволяющее переводить плоские изображения в объемные, заглядывать глубже «первого слоя» (слово образовано по типу *бионика*, *электроника* и т. п.). Новое научное направление зародилось в нашей стране в последние годы. Разработанная в ленинградском Государственном оптическом институте имени С. И. Вавилова (ГОИ) методика позволяет расшифровывать медицинские рентгенограммы, работать с изображениями, полученными с помощью микроскопа.

Газета «Красная звезда» (1988. 17 мая) поместила заметку «Что может иконика», в которой приводятся слова директора ГОИ члена-корреспондента АН СССР М. Мирошникова: «До недавнего времени изображению отводилась роль объекта исследования, будь то рентгенограмма либо какой-то документ, фиксирующий определенный результат. Но в рамках иконики у изображения уже не только пассивная, но и активная роль — роль оператора, совершающего преобразование над другими изображениями. Такая трактовка позволяет подходить к изображению во всеоружии математического аппарата и оптико-электронной техники. Я сравниваю иконiku с лингвистикой. Ведь лингвистика — это теоретическая надстройка над письменностью. Так и иконика — надстройка по отношению к изображению».

Иконика может оказать эффективную помощь врачам, кристаллистам, металлургам и геологам. Прикладными возможностями иконики активно заинтересовались работники кино- и фотоархивов, реставраторы.

*Л. И. Скворцов,
доктор филологических наук*

Маркетинг. Это новое слово английского происхождения (англ. marketing) распространилось в русском языке в связи с перестройкой экономики в нашей стране, а также с развитием и совершенствованием внешнеэкономических связей.

Неологизм *маркетинг* используется в значении «внешняя торговля с учетом изучения возможности производства той или иной продукции, предназначенной на экспорт, с организацией рынка сбыта, сервиса и рекламы». Кроме того, слово *маркетинг* употребляется и как название экономической дисциплины, предусмотренной в учебных заведениях, готовящих специалистов по управлению, — *менеджеров*.

Займствование *маркетинг* вошло в русский язык как существительное мужского рода, оно изменяется по падежам и не имеет формы множественного числа. Приведем примеры употребления этого неологизма: «Вводится также цикл лекций о советском маркетинге, задача которого — изучение спроса и ценообразования, действенности рекламы и стимулирование сбыта» (Известия, 1988. 3 сент.); «Но я считаю, намного лучше дать заказ на его проведение фирме — специалисту по маркетингу, может быть, даже западной», «В Москве состоялся первый информационный семинар под названием „Маркетинг во внешнеэкономических связях“» (Известия. 1988. 1 окт.).

Г. Г. Тимофеева,
кандидат филологических наук



НА АФИШЕ — ХИТ-ПАРАД?..

Если для поклонников современной поп- и рок-музыки слова *рок*, *рок-н-ролл*, *рок-группа*, *хард-рок*, *хэви-металл*, *диск-жокей*, *диско-ансамбль*, *шоу-ансамбль*, *хит*, *хит-песня*, *хит-парад*, *диско-хит*, *рок-хит* не пустой для сердца звук, то эти же слова не всегда понятны другим слушателям. Как и когда эти слова появились в русском языке? Одни — сравнительно недавно, когда в прессе стали больше анализировать современное зарубежное искусство. Другие были образованы по имеющимся лексическим моделям из тех слов, которые вошли в русский язык раньше, и в разное время их зарегистрировали словари-справочники «Новые слова и значения», ежегодники «Новое в русской лексике». Именно эти справочники дают нам сведения о том, как подобные слова входят в современный русский язык, как в нем живут. И если в Словаре-справочнике по материалам прессы и литературы 60-х годов «Новые слова и значения», выпущенном в 1973 году, помещены только *рок* и *рок-н-ролл*, то в 1984 году во второй Словарь-справочник новых слов и значений введены слова *рок-группа*, *рок-ансамбль*, *рок-звезда*, *рок-музыка*, *рок-опера*, *рок-певица*. Однако в нем еще нет слов *хит*, *хит-парад*, *хит-песня*. Нет их и в ежегодниках «Новое в русской лексике. Словарные материалы (77–83 гг.)».

Что же такое *хит*? Искусствоведческая литература, знакомящая нас с зарубежными исполнителями современной поп- и рок-музыки, открывает завес над этим таинственным словом. В книге Л. Мархасева «В легком жанре» (М., 1984) на стр. 8 можно прочесть: «Французская газета „Монд“ однажды описала механизм создания модной песни (в Америке и Англии ее называют „хитом“, в ФРГ — „шлягером“, во Франции — „тюбом“). Таким образом, слово *хит* было заимствовано из английского языка (англ. hit) в конце 70-х годов, причем только в значении «песня, пользующаяся успехом». Вот несколько примеров из периодики: *«На первых двух альбомах этой серии собраны хиты последних лет в исполнении „Силвер Конвекши“, Демиса Руссоса, „Баккара“, „Смоки“ и других звезд современной поп-сцены»*. (Смена. 1979. 14 окт.); *«В апреле 1956 года концерн „Эр-Си-Эй Виктор“ записывает первый хит Пресли „Отель разбитых сердец“, благодаря которому он получает свою первую золотую пластинку и приобретает известность за пределами США»*. (Смена. 1980. 2 марта); *«Песни Юрия Шевчука становятся не только „хитами“, но и смысловыми векторами сегодняшнего рока»*. (Сов. культура. 1988. 24 дек.).

В современном русском языке от слова *хит* было образовано прилагательное *хитовый* (*хитовая песня*), других новообразований пока не зарегистрировано.

Ну, а *хит-парад*? Слово тоже было заимствовано из английского (hit parade). Хит-парад — это не что иное, как список самых популярных песен или музыкальных записей недели, месяца, года в той или иной стране. Как отмечают музыковеды, такой список включает десять, тридцать, иногда пятьдесят или даже сто песен и регулярно, чаще всего еженедельно публикуется в специализированных газетах и журналах. Стали проводить хит-парады и у нас. Журнал «Смена» в 1989 году, подводя итоги традиционного конкурса любителей современной музыки, в статье «Тускнеют „звезды“» писал: «Тем и хорош наш годовой хит-парад, что не только расставляет всех (исполнителей и эстрадные ансамбли) по полочкам, но еще и дает возможность сравнивать, сопоставлять, возносить, ругать, а значит — анализировать».

В. Н. Сергеев,
кандидат филологических наук
Ленинград

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
«П. П. ЕРШОВ.
КОНЕК-ГОРБУНОК».

По горизонтали: 1. Кипяток. 3. Сеновал. 7. Топор. 8. Сусек. 10. Чёлка. 12. Шатёр. 13. Клад. 14. Чёрт. 15. Месяц.

16. Мороз. 17. Макар. 19. Лубок. 20. Саранча. 22. Балаган.
По вертикали: 1. Колос. 2. Котёл. 4. Овёс. 5. Проказы. 6. Учитель. 7. Терем. 8. Содом. 9. Кучер. 11. Армяк. 18. Коса. 20. Скарб. 21. Аршил.

Номер оформили художники: Н. БЕЛАНОВ, О. ДМИТРИЕВА, С. ЖАГИН, В. ЛЕОНОВ, М. МОРДВИНЦЕВА, Е. ЧУКАНОВА. ©

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. П. ВОМПЕРСКИЙ (главный редактор), Л. К. ГРАУДИНА, В. П. ГРЕБЕНЮК, В. П. ГРИГОРЬЕВ, А. Ф. ЖУРАВЛЕВ, Ю. Н. КАРАУЛОВ, Л. М. ЛЕОНОВ, Л. Ю. МАКСИМОВ, И. Г. МИЛОСЛАВСКИЙ, Л. А. НОВИКОВ (зам. главного редактора), Н. А. РЕВЕНСКАЯ (зам. главного редактора), Н. И. ТОЛСТОЙ, В. Ю. ТРОИЦКИЙ, А. П. ЧУДАКОВ, Е. Н. ШИРЯЕВ, Д. Н. ШМЕЛЕВ

Заведующая редакцией
Т. С. Колмакова

Художественный редактор
В. А. Леонов

Корректоры
В. В. Беляев, М. Б. Рыбина

Сдано в набор 18.12.89
Подписано к печати 08.02.90
Формат бумаги 84×108/32
Бумага типографская № 2.
Печать высокая. Усл. печ. л. 9,6
Усл. кр.-отт. 464,9 тыс.
Уч.-изд. л. 7,9. Бум. л. 2,5.
Тираж 54000
Заказ 3804. Цена 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
Адрес редакции: 121019, Москва, Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25,
2-я типография издательства «Наука»,
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6
